

Игнатий Николаевич

**ПОТАПЕНКО**

# СВЕТЛЫЙ ЛУЧ

CAVALIERI

ДЫХАНИЕ ЛЮБВИ

GELEOS




МОСКВА

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44
П64

**Потапенко, Игнатий Николаевич.**
Светлый луч / Игнатий Николаевич Потапенко. — М.: Гелеос. — 288 с. — (*Дыхание любви*).

ISBN 978-5-8189-0510-5 (в пер.)

**Произведения Игнатия Потапенко печатались почти во всех ежемесячных и еженедельных журналах своего времени и всегда отличались яркой талантливостью исполнения. А мягкость тона писателя, изысканность и увлекательность сюжетов его книг очень быстро сделали Игнатия Потапенко любимцем читателей!**

ДЫХАНИЕ ЛЮБВИ

Игнатий Николаевич
ПОТАПЕНКО

# СВЕТЛЫЙ ЛУЧ

# 1

В длинном полутемном коридоре, тянувшемся во весь подвальный этаж огромного больничного здания, шаги отдавались глухо и исчезали в замысловатых многогранных сводах, населенных какими-то причудливыми тенями, странным образом пересекавшимися между собою. От земляного пола, посыпанного песком, подымалась сырость, которая чувствовалась, как чувствуется в утренний час после дождливой ночи туман, подымающийся с поля. Воздух затхлый, промозглый, пропитанный густым запахом лекарств и дезинфекций. Влажные стены, в иных местах покрытые серыми и зелеными грибками сырости, угрюмо надвигались с обеих сторон. Изредка однообразие нарушалось широкими сводчатыми входами налево — без дверей. Там подымались чугунные лестницы, которые вели в палаты для больных. Протянутые всюду проволочные сетки, в качестве предосторожности на случай падения, свидетельствовали, что больные принадлежат к неспокойным.

Иногда навстречу попадался больничный служитель с ведром или шваброй в руках. Иногда, неизвестно откуда, долетал и замирал сдавленный крик, как будто в этой темной дыре кого-то душили...

Привычной неторопливой поступью шла Надежда Ивановна в самый дальний конец коридора, где помещалась сборная комната для врачей. Лицо ее при подвальном помещении казалось мертвенно-бледным, и это противоречило ее живым энергичным движениям и, может быть, несколько излишней полноте ее фигуры.

Как бы защищаясь от сырости, она плотно прижимала к своим плечам черный платок и в то же время снимала перчатки. Вот узкий поворот направо, желтая дверь с блестящими медными ручками. Она надавила ручку и вошла.

Сразу на нее пахну́ли — шум голосов, густой табачный дым и многолюдство. Комната была невелика. Три окна, наполовину спускавшиеся ниже уровня мостовой, недостаточно ярко освещали ее. Но все же здесь было неизмеримо больше света, чем в коридоре, и этот свет показал, что на щеках ее не только не было бледности, но, напротив, играл яркий, здоровый румянец.

Здесь было всего семеро, но казалось, что их гораздо больше. Они о чем-то спорили. Но она не вникала, потому что привыкла уже каждый день слышать здесь неинтересные вещи.

Почти машинально подала она всем руку и, заняв место за длинным столом у самого дальнего края, сидела молча.

— А вы никогда не опаздываете, Надежда Ивановна, — вскользь, как бы вспомнив, что надо оказать даме любезность, сказал ей высокий, стройный, щеголеватый доктор Черницын в коротеньком пиджаке, с франтоватым пестрым гал-

стуком на шее, в белоснежном воротничке рубахи какой-то необыкновенно модной фирмы.

Она не ответила; ей и не нужно было отвечать, потому что они тотчас же забыли о ней и продолжали спор. Она никак не могла понять, в чем дело. Всякий раз, когда она входила в эту комнату, ей надо было приложить много труда, чтобы понять общий, обыкновенно очень шумный разговор. Здесь она уже три месяца, и никак не может свыкнуться с мыслью, что в больнице, в докторской комнате, всегда говорят о чем угодно, только не о медицине и не о больных. Слышала она здесь споры об интересном процессе, который шел в суде, о новом балете, новой пьесе, но больше всего говорили здесь о скачках и бегах. Можно было подумать, что здесь клуб спортсменов. Говорили не по-дилетантски, а с большим знанием дела; в особенности отличался Сторецкий, давний больничный служака, состоявший при ней уже лет двадцать пять и пользовавшийся репутацией опытного врача. Он, правда, никогда не горячился, а всегда говорил спокойно, с расстановкой и достоинством, но его знания в этом деле были поразительны.

Он и теперь, весь утопая в дыме своей папиросы, отстаивал от общих нападений какую-то Травиату, которая на вчерашних бегах обманула общие ожидания.

— Для меня, — говорил он с глубоким убеждением, — в лошади важно не то, выиграла она или нет, а только порода. В лошади порода — это все. Я признаю только аристократическую породу.

Маленький широкоплечий толстяк с клинообразной темной бородкой, которая у него вертелась из стороны в сторону, точно на пружине, Тетюшин, постоянно то снимавший, то опять надевавший на нос золотые очки, как-то комически кряхтя, заметил на это своим хриплым голосом:

— А по-моему, пусть это будет хоть ломовой битюг, лишь бы пришел первым и дал мне выигрыш.

Спор разгорался. Двое совсем молодых врачей, только в этом году вместе с Надеждой Ивановной поступившие в больницу без жалования, единственно для практики, очевидно из благородных побуждений, присоединились к Сторецкому и доказывали вместе с ним, что истинный спортсмен вовсе не должен играть, а только наслаждаться красотой бега.

— Так что, по-вашему, самый интересный спортсмен — это Надежда Ивановна, потому что она не только не играет, но даже на бега не ездит! — сказал Тетюшин с видом человека, имеющего самые веские доводы.

Надежда Ивановна посмотрела на него с недоумением. Впрочем, недоумение было свойственно ее взгляду. Ее глаза всегда как будто о чем-то спрашивали.

— Э, — отозвался Черницын, — Надежда Ивановна еще вся впереди. Она теперь еще душой в Цюрихе, а годика через два из нее выйдет такая же заядлая тотошница, как Дарья Пантелеевна.

Надежда Ивановна пожала плечами.

— Господа, — сказала она каким-то необыкновенно звонким, здоровым голосом, — когда вы перестанете быть скучными?

Сторецкий встал, подошел к ней и, отечески взяв ее за локоть, не без комизма произнес:

— Милый мой друг, именно тогда, когда вы нас развеселите!

Все рассмеялись. Разговор о бегах на минуту прервался. Кто-то взглянул на часы и высказал мысль, что Семен Иванович, старший врач, вероятно, сегодня опоздает к обходу.

Вошел служитель и положил на стол три письма. Сторецкий взял их, повертел в руках, одно передал Тетюшину, прибавив: «Вам всегда женской рукой адресаты пишут», — другое взял себе и третье отдал Надежде Ивановне.

Пока занимались чтением писем, другие молчали. Кто-то из молодых смотрел в окно и насвистывал. В это время вошли еще двое врачей и зашуршали шелковые юбки Дарьи Пантелеевны Кульковой, на пышной груди которой, рядом с двумя живыми розами, красовался докторский знак. К Надежде Ивановне подходили, подавали руку, она отвечала тем же, но ни на кого не обращала внимания и не видела даже лиц. Она читала письмо, которое было из Вильны.

«Милый друг, Надежда Ивановна, пишу тебе это письмо в самом скверном настроении. Такая тоска, такая пустота! Дéла, дéла много, но нельзя жить одним делом. Я женщина, и мне нужны люди, живые люди. А люди здесь такие же, как и везде, и такие точно, как те, о которых ты мне пишешь. Мелькнуло было одно явление, но как метеор исчезло. Я уже писала о Барвинском. Он приехал сюда месяца четыре тому назад; помнишь, я не пожалела красок на изображение

моего восторга, и я не беру ни одного слова назад. О нет, я и до сих пор иногда думаю, что это мне снилось. Что за светлая душа! Нет слов, чтобы выразить тебе то высокое чувство, какое он вселил в меня. Но все хорошее недолго бывает среди нас. Я уже об этом писала тебе: месяца полтора тому назад он исчез с моего горизонта. Он заболел и с тех пор не показывался у нас; даже никто из товарищей его не видел. Жена его куда-то увезла. Я думала, что все же увижу его. Но сейчас узнала, что он больше не приедет. Он перевелся в Петербург и, кажется, в вашу больницу. Если это правда, то ты счастливее меня. Впрочем, ты сама увидишь и поймешь. Поверь, что если бы он был заурядным явлением, я бы не написала тебе тех писем, которые вылились у меня из души. Пожалуйста, напиши мне все, что узнаешь о нем...»

— Ах да, господа! — донесся до ее слуха хриплый голос Тетюшина. — Вы знаете, кто к нам перевелся?

— Кто такой? — спросили несколько голосов.

— Бобочка Барвинский.

— Да неужели? Так он отыскался?

— Но как же! Сегодня был у меня. Ранним утром, едва я только протер глаза, слышу — звонок. Признаться, я даже выругался, вообразив, что или какой-нибудь шальной пациент, или — еще того хуже — в больнице какая-нибудь катастрофа. Кто такой? Ба! Этот и оказался Бобочка! Я его принял в объятия. Какими судьбами? — спрашиваю. Да очень простыми, говорит. Соскучился по

Петербургу, вот и приехал. А кроме того, диссертацию хочу защищать.

Надежда Ивановна внимательно прислушивалась к этим словам и не верила ушам своим. Из Вильны она получала письма каждую неделю. У нее есть несколько писем от Строевой — ее товарки по факультету в Цюрихе, — посвященных Барвинскому. Строева — человек с большими требованиями. Ей тридцать пять лет, она много жила, много испытала, знает людей. Она говорит о Барвинском как о каком-то необыкновенно светлом явлении. Ведь эти письма лежат у нее в шкатулке, она их не выдумала. И там есть факты, в самом деле поразительные факты.

Но как же это совместить? Барвинский в то же время друг Тетюшина, этого доброго малого, никогда, однако, не подымавшегося выше увлечения теми дамами, которые пишут ему письма, да скаковыми фаворитами. И он для Тетюшина оказывается Бобочкой.

Разговор продолжался.

— Ну, что же он? Все тот же?

— Без перемены! С виду постарел немного, лоб увеличился — значит, лысеть начинает, в бороде белизна появилась. Ну, да ведь ему, господа, за тридцать, как и мне грешному. Ничего, ничего, — прибавил он, как-то особенно подмигивая ей и Дарье Пантелеевне, — я перед дамами своих лет не скрываю. Лета не мешают мне быть интересным... Все такой же весельчак, — продолжал он. — Острит по-прежнему, великолепно рассказывает анекдоты, много новых анекдотов привез и завтра уж на бегах будет...

— Слушайте, Тетюшин, — вдруг, почти помимо своей воли, обратилась к нему Надежда Ивановна. — Это тот, что был в Вильне?

— А вы знаете? Ах да, у вас там корреспондент есть. Ну да, тот самый. Мы ведь с ним вместе киевский университет кончили. Вот он вас расшевелит, Надежда Ивановна... Только берегитесь, опасен. Это не нам чета. Мы, знаете, люди простые, и нам простые женские души симпатизируют, а вы натура сложная, нераскусимая, а Бобочка как-то особенно умеет нераскусимых раскусывать.

Какое-то чувство оскорбления сдавило горло у Надежды Ивановны. Она вдруг почувствовала что-то враждебное и к Тетюшину, и к Барвинскому. Ей даже стало неприятно, когда Тетюшин прибавил:

— А он, может быть, сегодня заедет сюда. Ах да, вообразите, лошадей завел Бобочка, да еще каких! Лошади ведь всегда были его страстью!

— Да откуда же это все взялось? — спросил Черницын. — Ведь у него денег никогда не было.

— Ах, разве я вам не сказал? Ведь он женился. Как же! Уж лет шесть будет. Ну, жена лет на восемь старше его, — он сам говорил мне это, — но это ничего. Зато у нее прекрасное имение в Гродненской губернии и дом в Москве. Впрочем, этого он мне не сказал, это я из других источников знаю.

Сторецкий не принимал участия в этом разговоре; у него был странный вид, как будто этот разговор был ему даже неприятен. Он стучал пальцами по столу и часто посматривал на часы, как

будто нетерпеливо ждал обхода, который обыкновенно не слишком интересовал его. Потом он вдруг поднялся и сказал таким тоном, словно нарочно хотел прекратить этот разговор:

— Ну, господа, я думаю, что мы сегодня Семена Ивановича не дождемся и сделаем обход без него. Я подозреваю, что его экстренно вызвали в суд для экспертизы, там как раз каких-то психопатов судят... — Он мельком взглянул на Надежду Ивановну и прибавил: — Что это у вас такое недовольное лицо? Это даже не идет к вашим розовым щечкам.

Она не ответила. Все поднялись и вышли в коридор, потом повернули направо и стали подыматься по лестнице.

Надежда Ивановна поравнялась со Сторецким.

— Вы знаете Барвинского? — спросила она его.

— А что? Вас он интересует? Вот женщина! Не хочет оставить в покое даже того, который еще только, так сказать, in spe!..

Но Надежда Ивановна видела, что он хочет отшутиться.

— Да, меня он интересует! — промолвила она. — Я хочу только знать, подходит он под характеристику Тетюшина?

— А, вот что! Ну, как вам сказать: и да, и нет.

— Что же это значит?

— Да вот сами увидите. Признаться, он и у меня был сегодня. Вот кончим обход и, вероятно, найдем его внизу; ведь он здесь не новичок. Он в нашей больнице начинал свою карьеру.

— Правда, что он женат на старшей себя?

— Это правда.

— И она богата?

— И это, кажется, правда. Лошади действительно у него прекрасные. Что это вы так спрашиваете, словно у вас с ним роман был? Ну, женщина!

— О, что вы! Я его никогда не видела.

— Странно! Если бы роман был, так я еще понял бы, а так не понимаю.

Они вошли в переднюю, потом в палату.

## 2

После обхода Надежда Ивановна никого нового внизу не встретила. Барвинский, очевидно, в этот день в больницу не пришел.

До вечера она была свободна, а вечером ей надо было начать дежурство в женском отделении. Она вышла вместе с другими. Сторецкий отправился к старшему врачу узнать, почему тот не пришел. Некоторые зашли в сборную комнату. Двое молодых врачей тотчас сели на извозчика. Она осталась с Черницыным.

— Довезти вас? — спросил тот, подзывая извозчика.

— Нет, благодарю вас, мне надо зайти в два места! — ответила Надежда Ивановна.

— Практика?

— Да, практика.

— Я говорил, что женщины-врачи отобьют у нас кусок хлеба.

— Разве вы без куска хлеба сидите?

Он рассмеялся.

— Нет, я шучу, я всегда за женщин. Разве вы не знаете, что я всегда за женщин?

Он простился и уехал. Надежде Ивановне действительно надо было зайти в два места. Но если бы даже было и не так, она с Черницыным не поехала бы.

Он был ей неприятен. Слишком уже много самоуверенности было в этом человеке. Красивая наружность дала ему много легких побед над женщинами, и потому он стал считать себя неотразимым. Теперь он за женщинами уже не ухаживал, а как бы предоставлял себя в их распоряжение. Он словно только выбирал между ними, а затем, когда выбор был сделан, ему оставалось только взглянуть, чтобы победить.

Дарья Пантелеевна Кулькова давно уже была жертвой его. По всей вероятности, он и Надежду Ивановну «выбирал», потому что уже на третий день после ее поступления в больницу он говорил с ней таким тоном, как будто выслушал от нее объяснение в любви. Он получил резкий отпор, но не рассердился. А она уже не могла с тех пор говорить с ним иначе, как резко и даже слегка презрительно.

Но сегодня, кроме того, ее страшно занимал вопрос о Барвинском. Она никак не могла понять этого противоречия между письмами Строевой и тем, что о нем говорили.

Не может же до такой степени ошибаться Строева!

Но, быть может, она не так поняла ее письма? Быть может, в них была ирония, которой она не разглядела?

И Надежда Ивановна торопилась поскорее окончить свои два визита. Она спешила домой. Ее тянуло к шкатулке, где хранились письма.

От больницы она жила довольно далеко. Она занимала две небольшие комнаты с кухней, обставленные как только можно скромно.

Ей отперла горничная немка.

— Никто не приходил? — спросила Надежда Ивановна по-немецки.

— Никого не было! — ответила горничная.

Она нарочно взяла немку, чтобы говорить с ней по-немецки. Она боялась забыть этот язык, на котором училась медицине.

Она сняла свою коротенькую шубку, вошла в гостиную, оставила там шляпу, положив ее на пианино, потом прошла в спальню и уселась над хорошенькой шкатулкой, отделанной серебром. Ей хотелось поскорее проверить себя. Так ли поняла она письма Строевой?

Она открыла шкатулку. Вот письмо от 10 августа, это — первое впечатление Строевой, она описывает его наружность. Это не важно, а вот сентябрьское письмо... О, сколько здесь увлечения! Неужели же это ирония? «Наконец-то я увидела человека, который на двенадцать голов выше всех, всех, всех, кого я встречала в жизни. Ты не веришь? Ты думаешь, что я увлекаюсь? Но если бы ты могла его видеть среди других, — какими маленькими они кажутся перед ним! Это просто какие-то червяки, ползущие по земле...»

И все письмо так написано, все оно дышит каким-то восторгом перед чем-то необычайно светлым. Вот еще письмо, уж это октябрьское. И ни

одного слова, ни одного намека на то, чем изобразил его Тетюшин. Неужели же она была слепа? Ну, были бы, по крайней мере, какие-нибудь оговорки, сожаления, что вот, мол, все-таки и ему свойственны слабости. Или он ее дурачил, или, может быть, в ней говорило личное чувство? Вот еще одно письмо: уж он заболел, она его больше не видит, и это письмо полно скорби. Оно точно написано человеком, вдруг осиротевшим.

Было еще одно, она знает это хорошо. Неужели оно затерялось? Надежда Ивановна перебирает все бумаги. Высокой колонкой лежат одно над другим пачки писем.

Она ищет письмо Строевой. Оно в самом низу.

«Вот что произошло. Мы все шли из больницы. Нас было пятеро. На улице мороз и вьюга. Барвинский жался от холода. У него какие-то странные головные боли с легкой лихорадкой. Он ими страдает день и ночь. Он дрожал и кутался в свою шубу, подняв воротник. На перекрестке мы встретили женщину в лохмотьях. Она держала за руку девочку лет семи, с посиневшими от холода руками и лицом. Ноги ее были почти босые. Женщина жалобно смотрела и даже не просила словами, а только протянула руку. Один из товарищей, старик, очень почтенный и уважаемый в городе, сказал: «Ах, какая бедняжка!» — вынул кошелек и дал ей гривенник. Я тоже стала рыться в сумке, но ничего не могла найти; от холода руки коченели. Барвинский подошел к женщине, а нам сказал и как-то при этом смотрел исподлобья: «Идите, господа, я хочу с нею поговорить, я догоню вас!» Не знаю почему, мы ему поверили

и отошли. Голос у него был какой-то странный, повелительный. Мы отошли шагов на двести, но он все не догонял нас. Мне захотелось оглянуться. «Господа, взгляните, что он делает!» — воскликнула я. Все оглянулись. Барвинский снял с себя свою длинную шубу, надел ее на женщину и подавал ей на руку ребенка и закутывал его полами шубы. Что он делает? Это сумасшествие! Я и старший товарищ, тот самый, что дал гривенник, бросились обратно. «Антон Михайлович! Что вы делаете? Вы простудитесь насмерть, вы и так нездоровы!» — «Идите, господа, идите, вы ничего не понимаете. Идите себе!» — Вот все, что он сказал нам; потом он прибавил, обращаясь к женщине: «Пойдем!» И взял ее за руку и повел к себе на квартиру. Женщина смотрела на него с глубоким недоумением. Но слезы катились у нее из глаз. Я смотрела на него с ужасом и в то же время с каким-то благоговением. И странно, как странно! — он не дрожал теперь. Казалось, холод, от которого он кутался, когда был в шубе, теперь на него не действовал. Он как-то сурово, молча, кивнул нам головой и быстро повел их по переулку. Я была потрясена. Мне было стыдно. Ведь я этого не сделала и не могла бы сделать. Я его видела еще два раза. Но он был суров и молчалив... Потом он заболел. Может быть, от этого? Но если бы ты видела, каким светлым огнем горели его глаза...»

Она уложила письмо на место и закрыла шкатулку. Странное ощущение! Как будто в тот момент, когда опустилась крышка шкатулки, и этот мир от нее отдалился. Но почему она так волнуется? Что за неотложная задача для нее этот Бар-

винский? Она увидит его завтра или на днях и сама определит, что он такое.

И ей вдруг показалось смешным это странное увлечение человеком, который ей чужд, которого она узнала с чужих слов.

Генриетта в это время превращала гостиную в столовую, накрывая для завтрака круглый стол, звеня тарелками и ножами.

— Что у вас сегодня, Генриетта? — спросила Надежда Ивановна.

— Я сделала вам омлет с ветчиной!

— Отлично. А пиво есть?

— Как же! И пиво есть — холодное, как вы любите.

— Ну, давайте скорее, я голодна.

И вот, Генриетта торопится, и Надежда Ивановна уже сидит за столом и со здоровым, завидным аппетитом ест и запивает пивом. Генриетта рассказывает какой-то смешной случай, который ей сообщили сегодня на рынке. Надежда Ивановна звонко смеется. Не много надо, чтобы рассмешить ее. Она любит смеяться и смеется от души — весело, звонко, и ее крупные, ровные зубы так и блестят своей белизной.

После завтрака она пробегает медицинский журнал, который принесли без нее, делает дветри отметки карандашом на полях.

Стало темнеть. Ранние зимние сумерки торопились спуститься на землю, а было всего четыре часа — до восьми, когда она должна была ехать в больницу, времени оставалось много.

Иногда она в эти часы уходила из дому, забегала к знакомым или делала небольшие покуп-

ки. Но чаще оставалась дома. Она любила свою маленькую квартирку, где было так тихо и на всем лежал отпечаток немецкой аккуратности и чистоты. Эти качества принадлежали не ей, а Генриетте. Сама она была беспорядочна, но во время заграничной жизни научилась любить порядок и ценила это в своей горничной.

После завтрака ее тянуло к дремоте, но она очень редко позволяла себе сомкнуть глаза, тут же, на диване, подложив под голову маленькую вышитую шелком подушку. Она знала, что от этого толстеют, и не хотела толстеть. У нее было к этому предрасположение, и она этого боялась.

Генриетта зажгла лампу и поставила на стол. Свет пробудил Надежду Ивановну от лени.

— Зажгите свечи у пианино, Генриетта! — сказала она.

— Госпожа будет играть? — спросила Генриетта, и на лице ее появилось сияние.

Немецкая душа Генриетты обожала музыку, и игра Надежды Ивановны, которую ей приходилось слышать редко, казалась ей верхом совершенства. А главное, что удовольствие предстояло длинное. Уж если Надежда Ивановна садится за пианино, то не встанет долго, несколько часов подряд.

Свечи были зажжены. Надежда Ивановна села за пианино, и полились звуки. Она играла с ошибками, пальцы не всегда повиновались ей, но в этой игре слышалось что-то артистическое.

Когда-то (ох, как давно это было!) она увлекалась музыкой и мечтала быть виртуозкой. Здесь

же, в этом городе, она два года посещала консерваторию и у нее находили талант.

Но в жизни ее явились новые лица, а с ними и новые увлечения. Артистические мечты побледнели, а на их место стали другие; она оставила музыку и принялась за латынь.

Было у нее два года неопределенных колебаний, пробовала она поступить на курсы. Но ее мучила жажда какого-то живого, реального дела. В это время она сошлась со Строевой, которая имела на нее решительное влияние. Надежде Ивановне было тогда двадцать два года, а Строева уже пережила тогда семейную драму, ей было под тридцать. Она была человек убежденный и твердо знала, чего хотела. Она звала Надежду Ивановну с собой, за границу, учиться медицине. Это было решено, и они уехали.

Но Надежда Ивановна не забыла взять с собой толстые тетради в красивых переплетах; Моцарт и Бетховен, Шуман и Шопен остались ее друзьями. На них она и застыла. Новая музыка ее не коснулась: ей некогда было изучать ее.

Но в Цюрихе, среди спешных, усидчивых занятий, из небольшой комнаты с двумя кроватями, одну из которых занимала Строева, иногда лились музыкальные звуки, полные силы и огня.

Толстые тетради привезла с собой и сюда. Она никогда им не изменяла... Но она чувствовала, что время как бы наложило путы на ее пальцы, и с каждым годом путы эти затягивались все туже и туже. Уже давно она была недовольна своей игрой и не раз мелькала у нее мысль, которая могла прийти только требовательному к себе артис-

ту, — мысль навсегда отказаться от музыки. Но проходила неделя, другая, и ее тянуло к клавишам, она садилась и забывала свои ошибки.

Часы пробили восемь. Надежда Ивановна прервала мелодию на половине фразы; она не заметила, как прошло время.

— Генриетта, шубу, шапку, скорее!

Генриетта бежала из передней, исполняя приказание.

— Зачем вы мне не сказали, что так поздно?

Она посмотрела в лицо Генриетте. В больших серых глазах бледного лица тевтонки еще и теперь сохранялось выражение мечтательности, навеянное музыкой.

— О, я слушала, я заслушалась! — ответила Генриетта, помогая ей надевать шубу.

## 3

На другой день она встала поздно. Ей только хватило времени, чтобы одеться, выпить стакан кофе, и она поспешила на обход.

Торопливой походкой шла она полутемным коридором — обычный путь, который она совершала каждый день, — и ей казалось, что позади раздаются чьи-то тяжелые шаги.

Она оглянулась — то был Семен Иванович, старший врач больницы. Она замедлила шаги. Значит, не к чему было торопиться, если он еще здесь.

Они пошли рядом и вместе вошли в сборную комнату. Там все столпились в одну группу, по-

видимому, окружив кого-то. Семен Иванович прищурил глаза. Его раздражал табачный дым. Сам он курил только одну сигару в день, после обеда.

При его появлении шум сразу понизился на несколько тонов. Семен Иванович никогда не принимал начальнического вида. Напротив, он держался со всеми по-товарищески. Но его необыкновенная ровность, выдержка и серьезность так действовали на всех, что при нем как-то неудобно было распускаться.

— А вот и начальство! — сказал Тетюшин, который всегда и при всех обстоятельствах оставался верен своей шутовской манере. — Позвольте вам представить, Семен Иванович, нового ординатора! — промолвил он пресерьезным тоном, очевидно, рассчитывая на особенный эффект.

Семен Иванович еще больше прищурил глаза и стал всматриваться в группу.

— А, Антон Михайлович! Батюшка мой, я очень рад, очень рад вашему возвращению к нам! — сказал он очень радушно и просто и подал кому-то руку.

Надежда Ивановна стояла вдали и была зрительницей. Кто-то уже подошел к ней и поздоровался, но она ответила невнимательно. Она пристально рассматривала новое лицо. Теперь он выступил несколько вперед, держа за руку Семена Ивановича.

Ну да, это, конечно, был он; было произнесено его имя, да и по внешности он подходил к описанию Строевой.

Почти высокого роста, полный, но далеко не стройный, с туловищем, слегка наклоненным

вперед, он казался крепко сложенным. Сильная мускулистая рука его жала руку Семена Ивановича. Высокий лоб, как короной увенчанный капризно вьющимися прядями густых русых волос, над висками характерные углубления. Густые брови резко очерчивали широкие орбиты, в которых покоились странные глаза. Цвет их был неопределенный — не то голубой, не то серый, а иногда они казались темными. Но он, как можно было думать, не видел того, на что смотрел; что-то беспокойное, неровное было в этих глазах; но когда им удавалось на минуту сосредоточиться на чем-нибудь, тогда в них являлось выражение какого-то страшного упорства, какой-то дикой силы. И много ума светилось в этих глазах.

Черты лица его по форме были почти грубы. Толстые губы, широкий выдавшийся подбородок, выдающиеся скулы. Только нос у него был тонко очерчен.

Но на всем лице его, обрамленном кудрявой русой бородой, постоянно играла тонкая, чуть заметная усмешка, придававшая грубоватым чертам оттенок мягкости и симпатии. Он говорил отрывистым, басистым голосом, как показалось Надежде Ивановне, слегка запинаясь.

— Вот опять под ваше начало, Семен Иванович! Старину вспомнил!

— И прекрасно сделали, мой добрый, прекрасно сделали! Работы у нас масса. У нас, батюшка, на шестьсот мест народа около двух тысяч навалено, так тут есть где развернуться.

— Но ведь это безобразие, Семен Иванович!

— А, разумеется, безобразие! Но что же мы поделаем? Для нас нет денег. Для мостовых и всяких там электричеств есть, а для больной души человеческой нет. Я, батюшка, говорил уже, говорил, да и устал, язык заболел. Так очень рад, очень рад! Ну, что у вас нового, Григорий Игнатьевич? — обратился он к Сторецкому.

Сторецкий подал какую-то бумагу, он читал и подписывал, но в то же время, не поднимая головы, продолжал, обращаясь все к тому же собеседнику:

— А вы, я слышал, женились? А? Вот как! Что ж, и дети есть, а?

— Нет, детей у меня нет, Семен Иванович. Я ведь degeneré... Разве вы не знаете? Мой род осужден на прекращение...

— О, пустое, пустое, какой вы degeneré! Я этому не верю, пустое. А чьи это там, скажите пожалуйста, лошади я видел у подъезда? — обратился он больше к Сторецкому. — Славная пара.

— Это мои, Семен Иванович! — ответил Барвинский.

— О, так вы разбогатели?

— За женой взял.

— А, вот что. Ну, отлично, отлично. Когда-нибудь прокатите. А то у нас, знаете, казенные, на них скучно ездить. Ну, пойдемте, господа. Перемен никаких не увидите, Антон Михайлович; только народу вдвое больше стало, а удобств не прибавилось. А вас не познакомили? Надежда Ивановна, позвольте вам представить: Барвинский, наш старый товарищ. Славный малый и отличный работник. А Надежда Ивановна у нас цю-

рихская. Тоже дело любит, только мало еще смыслит. Она у нас еще подросток!

Все рассмеялись, а Надежда Ивановна покраснела.

Она подала руку Барвинскому и почувствовала его сильное пожатие.

— Ах, я уже имею о вас сведения! — чрезвычайно просто сказал Барвинский.

— От Строевой? — спросила Надежда Ивановна, почему-то еще более краснея и в то же время вглядываясь в глаза, напрасно стараясь уловить основное их выражение: оно ускользало от нее.

— Да, да, от Анны Сергеевны! Она от вас в восторге.

— Но и мы тоже, и мы тоже! — воскликнул Тетюшин. — Мы все в восторге от Надежды Ивановны.

Надежда Ивановна строго посмотрела на добродушного толстяка, а тот, по обыкновению, комически подмигнул ей.

— Нечего, нечего строгие глаза делать! — тут же и выдал ее он. — Вот возьму и расскажу Антону Михайловичу, как вы тут три дня уже о нем справки наводите. Ага, а что? Покраснели? Ха-ха-ха!

— Обо мне? — спросил Барвинский.

— Да, мне писала Строева, что вы приедете! — страшно сконфузившись, сказала Надежда Ивановна.

— Ах, Строева, Строева! Она очень мила и прекрасный товарищ, но в ней еще слишком много экзальтации!

— Экзальтации? — спросила Надежда Ивановна.

— Да, экзальтации, восторженности, если хотите. В ее годы пора бы уже перестать быть ребенком.

Они шли коридором, потом обычной дорогой начали обход. В палатах разговор не продолжался. Семен Иванович на этот раз как будто делал все для Барвинского, все к нему обращался и давал ему свои объяснения. Он понимал его как страстного, горячего работника и очень жалел, когда больница потеряла было этого молодого врача, на которого тогда возлагались надежды.

Сторецкого он любил как старого товарища, с которым он вел дело уже четверть века, уважал его знания, честность, знал, что всегда можно положиться на него, и ни на кого не променял бы его. Но иногда — и очень нередко — у него чувствовалась потребность в более энергичном и смелом помощнике, и в таком случае он всегда вспоминал Барвинского.

Остальных он почти не принимал в расчет. Тетюшин брал добродушием, а Черницын, в сущности, смотрел в лес, все поджидая, когда выищет более самостоятельное место в другой больнице. Что касается Кульковой и молодых ординаторов, то все это были еще неопределенные величины.

Надежда Ивановна шла позади всех.

Во время обхода ей пришлось отстать. Одна из сестер обратилась к ней за какими-то разъяснениями; это отняло у нее минут десять.

Она догнала всех в женском отделении и была очень удивлена, услышав строгий голос Семена Ивановича, при общем молчании врачей и больных.

— Матушка моя, так не делают, — внушительно говорил старший врач. — Ведь это я тоже захочу поехать на охоту и оставлю больницу на произвол судьбы! Случается и мне уезжать, так тогда я передаю дело Григорию Игнатьевичу, и вы могли попросить кого-нибудь, ну, хоть Надежду Ивановну, она не отказалась бы. Так нельзя, так нельзя. Ничего не случилось? Так что же из этого? Но могло случиться. А вы даже дежурному ординатору не сказали.

Надежда Ивановна подошла ближе и увидела Кулькову, которая в величайшем смущении стояла перед старшим врачом. На ней была меховая накидка и круглая котиковая шапочка, а на обеих руках перчатки. Она сейчас же догадалась, в чем дело.

Кулькова, очевидно, вспомнила о каком-нибудь неотложном обстоятельстве и «сбегала на минутку», оставив отделение на произвол судьбы. Она была уверена, что будет отсутствовать действительно всего «минутку», и рассчитывала вернуться до обхода, но, по своему обыкновению, ни разу не взглянула на часы, и лицом к лицу встретилась с Семеном Ивановичем.

Кончилось тем, что Семен Иванович махнул рукой и вышел, а за ним последовали и все. На лестнице он ворчал, что придется отнять у Кульковой дежурство, а это значило лишить ее небольшого оклада, который она получала.

Все переживали неприятное состояние духа, и таким образом дошли до сборной комнаты. Здесь тяжелая атмосфера несколько рассеялась. Семен Иванович удалился к крайнему окну справа —

место, где обыкновенно велись серьезные совещания, и, взяв под руку Сторецкого, о чем-то говорил вполголоса; потом они подозвали Барвинского и стали говорить громче. Оказалось, что они распределяли обязанности, так как Барвинский должен был вступить в должность второго старшего ординатора.

Обязанности эти временно исправлял Черницын и тяготился ими, потому что не рассчитывал оставаться в этой больнице. Строгая требовательность Семена Ивановича ему не нравилась. При том же у него был какой-то ход в высших сферах, и он надеялся получить на свои руки целую больницу, которая еще строилась.

— Ну, значит, вы теперь свободны, Алексей Петрович! — обратился к нему Семен Иванович, когда окончилось совещание. — Вот вы жаловались, что много работы; теперь будет поменьше.

Черницын церемонно поклонился. При Семене Ивановиче он вообще вел себя далеко не так развязно, как без него. А Семен Иванович всегда очень косо посматривал на его франтоватый пиджачок и ослепительный галстук. Между ними была тайная вражда, основанная не на конкуренции, не на каких-нибудь личностных, а единственно на противоположности вкусов.

Пора было расходиться. Семен Иванович уже начал прощаться и при этом просил Сторецкого забежать к нему на минуту.

— Семен Иванович, я хочу просить вас о величайшей милости! — сказал Барвинский. — И всех товарищей тоже — и старых, и новых.

— Милости? — спросил Семен Иванович.

— Ну да, это будет милость, если вы не откажетесь сегодня пообедать у меня вместе с другими. Надеюсь, господа, что все согласны? — прибавил он, обратившись к другим.

— Само собою, Бобочка! — ответил за всех Тетюшин. — Мы все согласны обедать. У нас все каждый день обедают.

— Ах, батюшка, да ведь я еще хриплю, сами видите, куда же мне? — сказал Семен Иванович. — Притом, вы обедаете поздно, а я в четыре часа. А? Как же быть-то? И отказаться не хочется, и того...

Тут все начали упрашивать его, а в особенности Тетюшин.

— Для Бобочки можно изменить привычки, Семен Иванович. Ну, как же мы будем без вас? Мы без вас словно без головы будем. А у Бобочки, Семен Иванович, какое шато-марго есть — пальчики оближете! Он мне говорил...

Семен Иванович действительно питал слабость к «шато-марго», но все-таки продолжал отговариваться. Он, видимо, был в затруднении. Не любил он торжественных обедов. А обед у Барвинского, у теперешнего Барвинского, судя по лошадям и экипажу, должен быть торжественным.

— Да вот еще что, — сказал он, очевидно хватаясь за новую отговорку: — Ведь никого при больнице не останется.

— Я останусь, Семен Иванович. Кстати, я «шато-марго» не употребляю, — шутя сказал Сторецкий.

— Ну, как же! Зачем же вам? Вы и так работаете, Григорий Игнатьевич! — начал опять отделываться старший врач.

Но его убеждали. Будет дежурный из молодых врачей, Сторецкий посидит до восьми, девяти часов. Наконец решили, что Семен Иванович не будет обедать, а приедет попозже, а Сторецкий будет часто наведываться.

Когда уже все расходились, Барвинский подошел к Надежде Ивановне.

— Простите, пожалуйста, я не успел сделать вам визит, но я его сделаю потом. Надеюсь, вы приедете сегодня?

— Благодарю вас.

— Ну, вот спасибо, моя жена будет очень рада.

Все вышли. У подъезда стояла элегантная новая коляска, запряженная красивой парой. Кучер, увидев Барвинского, с шиком подкатил.

— Тетюша, садись, подвезу! — предложил Барвинский.

— Довези, Бобочка! Я, брат, на своих лошадей еще не разжился. На нашей душевнобольной практике не разживешься. На извозчиках езжу. А оно как-то лестно прокатиться на собственных, хоть и на чужих!

И толстый Тетюша уселся первым. Барвинский еще раз подошел к Надежде Ивановне, вежливо приподнял шапку и сказал, пожимая ей руку:

— Так мы будем ждать! Я живу на Кирочной, 23. А вы?

— Я на Большой Конюшенной, 12.

— Так ждем, непременно ждем.

Он поднял бобровый воротник шубы и уселся.

— Пошел! — крикнул он кучеру, и тот пустил лошадей быстрой рысью.

Надежда Ивановна с минуту стояла на ступеньках крыльца у подъезда и смотрела вслед быстро удалявшемуся экипажу. Она думала: «Или это странная, непонятная ошибка со стороны Строевой, или он загадка».

И ее опять охватил какой-то непонятный, непобедимый интерес к этому человеку. Он решительно ничем не проявил себя. Он не выказал ни особенного ума, ни пошлости. Он говорил самые обыкновенные вещи, держался несколько повыше Тетюшина и Черницына, что совсем нетрудно. Но этого еще слишком мало, чтобы попасть в «светлые явления».

И потом, этот шикарный экипаж, эти тысячные лошади. Как все это совместить с тем эпизодом, который так глубоко потряс Строеву?

Она ехала домой, на Конюшенную, и все время думала о сегодняшнем вечере. Ей хотелось, чтобы поскорей прошло время, чтобы увидеть, как он живет, как держит себя дома, увидеть его жену, обстановку.

Ее нагнал быстро мчавший лихач, и кто-то крикнул: «Стой!» Она оглянулась. Это был Черницын.

— Надежда Ивановна, вы поедете к Барвинскому?

— Поеду.

— Неужели? Вот странно! Ведь он у вас не был?

— Я поеду! — нетерпеливо сказала она и прибавила кучеру, который остановился: — Поезжай.

— Постойте минутку. А можно за вами заехать? Не одной же вам ехать, в самом деле!

— Нет, я одна поеду. До свидания!

— Как вам угодно! — сказал Черницын и с видом пренебрежения поднял воротник франтоватого пальто.

Лихач быстро обогнал их, а извозчик Надежды Ивановны поплелся поспешной рысцой.

## 4

В бельэтаже большого дома, на Кирочной, вот уже несколько дней происходила оживленная возня.

В квартире было шесть комнат, и все надо было отделать и обставить заново. Отделка закончилась с неделю тому назад, еще до приезда новых жильцов, но по их указаниям.

Особенно много хлопот доставил кабинет. Тут все тщательно подбиралось, даже форма карнизов переделывалась, согласно странному вкусу хозяев. В обоях не должно было попадаться ни одного красного или белого пятнышка.

А когда приехала хозяйка и увидела блестящие медные ручки на дверях, то почему-то страшно заволновалась, тотчас же все велела вынуть и сделать их матовыми. Затем началась отделка квартиры.

У приехавших жильцов, по-видимому, не было готовой обстановки. Она, наверное, была, но они не хотели тащить ее из Вильны. И все покупалось заново. Хозяйка всю неделю проявля-

ла лихорадочную деятельность, а хозяин, как казалось, не только не вмешивался, но даже не интересовался.

Он занимался только кабинетом, этими двумя огромными книжными шкафами, в которых собственноручно, в ему только известном порядке, расставлял книги. Книг этих привезено было множество, несколько сундуков. Все они были в изящных переплетах. Вообще видно было, что книгами в этом доме занимаются с любовью.

Но многого, очевидно, недоставало, и хозяин то и дело ездил в книжный магазин, прикупал, иногда разыскивал у букинистов, и отдавал в переплет. Хозяйка же только и делала, что ездила по мебельным магазинам и устанавливала приобретенные вещи.

— Ну, теперь смотри, Антон! Ты доволен? — спросила хозяйка у своего мужа, когда отделка квартиры была кончена.

Он посмотрел довольно равнодушно и рассеянно ответил:

— О да, доволен; я всегда тобой доволен, моя малютка!

Он называл ее малюткой не только из нежности, а может быть, и потому, что она была удивительно миниатюрна. Чрезвычайно маленького роста, худая и бледнолицая, она, в самом деле, походила на заморенного ребенка. На лице ее всегда было выражение какого-то беспокойства. Глубокая грусть светилась в ее мягких, темных глазах.

Но выражение это далеко не соответствовало ее характеру. Никакой слабости она не проявля-

ла. Напротив, всегда озабоченная, всегда энергичная, она держала весь дом в своих руках, никогда не уставала, ни перед чем не становилась в тупик, не опускала руки. Казалось, энергия этой маленькой женщины не имела границ.

— Ну, теперь ты можешь звать своих товарищей на обед! — сказала она.

— Ах да, я и забыл об этом. Я даже позабыл, что надо заявиться в больницу и вообще начать там работу! — откликнулся муж.

— Ну что ж, это и хорошо, что забыл. По крайней мере, ты действительно отдохнул за эти три недели.

А он в самом деле отдыхал, занимаясь своими книгами. Он немного скучал, потому что из деревни еще не доставили лошадей, без которых он не мог обходиться. Но вот и лошади прибыли. Их всего было три. Остальные (а было всех около десятка) были пока в деревне. Здесь они не были нужны. Пара предназначалась для экипажной езды, а одна — удивительно красивый темно-серый жеребец — для верховой.

Антон Михайлович обожал эту лошадь, которую жена подарила ему год тому назад в день именин. Самым высшим наслаждением для него было вскочить в седло и кататься на любимой лошади, которую он почему-то называл Букой.

И когда привели лошадей, Антон Михайлович первым делом оседлал своего Буку и прокатился по островам, и эту прогулку он совершал каждое утро.

Он кончил установку книг в своих шкафах и решил заявиться в больницу. Назначен был обед,

и Нина Александровна — так звали его жену — с утра в этот день хлопотала, чтобы принять товарищей мужа как следует.

Странная женщина! Казалось, все, что она с такой видимой энергией делала, выходило у нее механически, в силу какой-то необходимости, но совсем не интересовало ее. Лицо ее сохраняло постоянный оттенок грусти, а в глазах светились мысли, далекие от всего того, что перед нею свершалось. Точно какая-то неустанная забота камнем лежала на ее сердце, и никому она не могла показать эту заботу и должна была вечно носить ее в своей груди.

Но еще более странно было видеть ее в обществе Антона Михайловича. Он казался перед нею таким беззаботным, веселым и довольным, ни перед чем не задумывающимся, спокойным. Он знал, что все совершается так, как надо, и ему ни во что не надо вмешиваться.

Но и она менялась при нем. Лицо ее как будто становилось другим. Появлялась на губах улыбка, глаза внимательно смотрели в его глаза. Только в глубине этих глаз все-таки оставалось выражение грусти, но оно уходило куда-то далеко-далеко, как бы прячась от его внимания, и надо было пристально наблюдать, чтобы уловить его.

К этому дню уже была нанята прислуга, и все готовились к приему гостей. Нина Александровна ждала мужа, чтобы узнать наверное, принято ли приглашение. Он вернулся часам к четырем, так как заезжал к товарищам, которых не успел посетить ранее. Были и другие знакомства из приезжих, — он торопился возобновить их.

— Ну что? — спросила его Нина Александровна.

— Будут, все будут. И Семена Ивановича уломал. Он дикий, нелюдимый старик, но славный малый, и дамы будут — целых две.

Тогда суета еще увеличилась. Нина Александровна стала одеваться. Ее туалет был несложный. Темное шерстяное платье, кружевца на шее и на плечах, простая прическа, тонкая брошь с мелкими изумрудами, к которым она питала пристрастие.

Первым явился Тетюшин. Он тотчас же нашумел в квартире и начал обращаться с Ниной Александровной как старый приятель. Он как-то бессознательно переносил свои дружеские чувства с мужа на жену.

— Эх, да у вас славная квартира! — воскликнул он, обводя глазами комнаты. — И какая чудесная гостиная! У кого заказывали, а? Ах, какой буфет необыкновенный! Я давно мечтаю о таком буфете! Сколько заплатили? Ну, это дорого с вас слупили. Напрасно вы не прихватили меня с собой, совсем другая цена была бы.

— Да как тебя прихватить, когда ты такой толстый! — пошутил Антон Михайлович.

— Толстый? Во-первых, до этого еще далеко — я намерен еще вдвое потолстеть. А во-вторых, милый Бобочка, я необыкновенно легок. Ты спроси извозчика, когда он меня везет. Я совсем легонький. Это оттого, что у меня мозг маловесный. Ха-ха-ха! Да-да, оттого! Вот у тебя, Бобочка, я знаю, мозг тяжелый, ибо ты у нас умница. И почему он Бобочка? — обращался он к Нине Александров-

не. — Неизвестно! Зовут его Антоном, а из Антона, как ни верти, ни по какой филологии Бобочки не выйдет. А так вот, без всяких оснований, пошел он у нас за Бобочку, да так и до сих пор остается. Меня, например, товарищи назвали «старый подосинник», потому что я всегда такой толстый был, и, знаете, похож на старый гриб, когда три дня дождь шел, и он надулся и еле держится... Вы извините, что я вашего мужа Бобочкой называю; это ничего, это по старой дружбе...

Нина Александровна смотрела на него с той улыбкой, которая всегда играла у нее на губах, когда она была не одна, — улыбкой, которую, казалось, наложила на ее уста посторонняя рука, как маску или грим.

После пяти часов стали появляться другие гости. Явилась Кулькова в сопровождении молодого врача, с которым у нее был недавно начат роман; потом еще двое из молодых. Затем приехал Сторецкий, стали подходить старые знакомые, не служившие в больнице. Явились два офицера, которые приходились дальними родственниками Нине Александровне; какая-то молоденькая девушка, собиравшаяся поступить на курсы; студент медицинской академии. Приехал и Черницын.

Около шести часов прибыла Надежда Ивановна. Она была неприятно поражена, когда, стоя еще на площадке лестницы, услышала гул множества голосов. Она вовсе не хотела приезжать последней. Это могло иметь дурной вид чего-то преднамеренного.

Но делать было нечего, она позвонила и вошла.

Антон Михайлович встал и пошел ей навстречу. Он подвел ее к Нине Александровне и познакомил:

— Вот, Нина, еще один мой товарищ, Надежда Ивановна Мальвинская!

Нина Александровна поднялась и подала Надежде Ивановне свою миниатюрную руку. Надежда Ивановна посмотрела ей в глаза, и едва ли ей удалось скрыть на лице своем удивление, такими странными показались ей глаза хозяйки.

Она села рядом, и у них завязался тот общий во всех случаях разговор, который обыкновенно никого из собеседников не интересует.

— Вы ведь не здесь кончили? вы слишком молоды для этого! — сказала Нина Александровна.

Она несколько затягивала слова, и голос у нее был слабый. Приходилось очень внимательно прислушиваться, чтобы все расслышать.

— О нет, конечно! — ответила Надежда Ивановна. — Я кончила в Цюрихе всего два года тому назад.

— Но каким образом вы получили права в России? Это должно быть очень трудно! — продолжала Нина Александровна, очевидно мало интересуясь своим вопросом.

— Я выдержала экзамен в Казани. А вы до сих пор ведь не жили в Петербурге?

— Я жила здесь давно, еще маленькой девочкой. Мой отец служил здесь, он был военный...

И такой разговор тянулся у них минут пять, видимо затрудняя обеих.

— Слушай, Нина, кажется, уже все собрались. Семен Иванович ведь приедет поздно; он дома

обедает! — сказал Антон Михайлович, и это выручило обеих.

Нина Александровна встала.

— В таком случае я попрошу всех в столовую, там все готово. — Все поднялись и перешли в столовую. Это была обширная комната, разделенная на две неравные части высокой аркой. Стол был богато сервирован и ярко освещен тремя канделябрами. У одного из широких, полукруглых окон с синими стеклами стоял небольшой стол, уставленный закусками. Туда хозяин приглашал всех.

— Господа, пьющие водку, — громким басом говорил Антон Михайлович, — обращаю ваше внимание вот на эту старку; мы вывезли ее из деревни; Нина Александровна держала ее лет восемь в своем погребе.

— А, старка, старка! — подхватил Тетюшин. — Должно быть, что-нибудь великолепное!

И он стал пробовать. Через минуту он повторил, а потом и третью выпил.

— Только я, брат, без хозяина пить не стану, — говорил он, приставая с рюмкой к Барвинскому.

Тот отказывался, но потом нерешительно взял и почему-то оглянулся. Нина Александровна смотрела на него тревожным взглядом.

— Можно, Нина? — спросил он.

Она покачала головой.

— Не следует, Антон. Лучше не надо, ведь ты же знаешь себя.

— Не велят! — сказал Антон Михайлович и поставил рюмку на стол.

На лицо его набежала легкая тень; Нина Александровна заметила это и поспешно подошла к нему.

— Если тебе очень хочется, Антон, выпей! — сказала она и с видом виноватости посмотрела ему в глаза.

— Нет, вовсе не хочется, мой друг! — просто ответил Барвинский. — Это ему хочется, Тетюше.

Она отошла от него, а он не выпил водки.

Тетюшин между тем пробовал уже другие сорта. Потом, закусывая в сторонке, кивал головой по направлению к буфету и говорил Кульковой и Черницыну, стоявшим около него:

— Нет, вы посмотрите, какой буфет! Я за такой буфет позволил бы вырезать себе два фунта жиру!

Надежда Ивановна не подходила к столу; ей навязали кусочек омара, и она рассеянно ела его.

Она чувствовала какое-то странное тревожное волнение. От ее внимательного взгляда не ускользнуло ни одно движение хозяйки. Она видела, как Нина Александровна, заботливо, хотя почти машинально, предлагая гостям разные закуски, в то же время не спускала глаз с Антона Михайловича, следя за ним, как будто чего-то боясь. И у Надежды Ивановны было такое ощущение, что вот-вот должно произойти что-то странное, непонятное, таинственное, может быть, страшное.

Но ничего не произошло. Все уселись за стол, и стали подавать кушанье за кушаньем.

Тревожное выражение не покидало лица Нины Александровны, хотя она старалась, чтобы улыб-

ка оставалась на ее губах. Выходило что-то странное, от чего Надежда Ивановна переживала мучительное состояние.

Она силилась понять, в чем тут дело, что так заботит эту бедную женщину? Почему ее лицо так бледно? Почему в волосах так много седин, а на лбу и под глазами, и над углами рта такие частые, мелкие, но глубокие морщины, которые рельефно выступали при ярком освещении?

Подали сладкое. Антон Михайлович обратился к жене:

— Нина, а что же ты... ты нам не дашь... шипучего?

У Нины Александровны на мгновение сдвинулись брови, но только на мгновение, а затем лицо ее сделалось прежним. Да и Надежду Ивановну поразило то обстоятельство, что Барвинский стал как будто заикаться. Она вглядывалась в его лицо, — на нем не было уже прежнего выражения мягкой иронии, которое ей так нравилось. Глаза его горели каким-то беспокойным блеском.

Нина Александровна встала.

— Сейчас будет! — сказала она, и голос ее звучал точно из могилы. Она вышла и минуты две не появлялась.

Явился лакей с бутылкой, завернутой в салфетку, тихо откупорил ее и стал разливать вино в бокалы.

— Ну вот, это... это другое... дело, — воскликнул Антон Михайлович, и Надежда Ивановна уже могла с уверенностью сказать, что он теперь заикается. Слово «другое» ему не удалось даже сразу произнести.

— Господа! — продолжал Антон Михайлович. — Что же это д... дамы не... не пьют? Дамы должны пить. Это не... неравноправность!

Соседи подхватили это и стали подливать вино дамам. Только теперь Надежда Ивановна заметила, что ее соседом справа был Черницын. Она была вся поглощена наблюдениями за хозяйкой.

— Выпьемте с вами, суровый товарищ! — сказал ей Черницын, протягивая ей свой бокал.

— Выпьемте, если вам хочется! — сказала Надежда Ивановна.

— Хочется, страшно хочется, именно с вами!

— Почему же со мной?

— О, почему? Потому что этого требуют мои чувства к вам.

— Странные чувства, которые требуют выпить...

— А вы не понимаете...

И он говорил что-то очень долго о чувствах, которые требуют, чтобы выпить вместе.

Она слушала его смутно, потому что в это время появилась Нина Александровна и опять заняла свое место. Лицо ее было еще бледнее прежнего, и выражение на нем каменное. И мучительно было смотреть на это бледное лицо, на котором все-таки упорно оставалась неизменная прежняя улыбка. Было ясно, что она переживала какую-то глубокую муку.

Между тем, Антон Михайлович уже провозгласил тост за товарищей, уже чокнулись и выпили, и Сторецкий, подняв бокал, говорил что-то витиеватое и комическое, подводя свою речь к тому, чтобы кончить тостом за хозяев.

Надежда Ивановна после каждого тоста машинально пила и чувствовала, что у нее голова не в порядке. Уже все переменили места, только Черницын что-то упорно жужжал около нее. Все теперь пили без тостов, чокались только с соседями.

Антон Михайлович встал и, не совсем твердой походкой пройдя мимо всех, направился к Нине Александровне. Он подошел к ней и, обняв ее тонкую шею своей тяжелой, аляповатой рукой, промолвил:

— Ну, что... Что... моя маленькая малютка!.. Что?.. Что ты уныло смотришь? Ну, ну... все равно... Жизнь коротка!..

Она посмотрела на него долгим взглядом, полным нежности и бесконечной печали. Он поцеловал ее в волосы, потом отвернулся и махнул рукой.

— Э, ну... Ты все свое... Ну тебя... Господа! — вдруг возвысил он голос и взял в руки бокал. — Давайте жить!.. Давайте жить, как следует! Полно киснуть...

— Как киснуть? — спросила Кулькова. — Разве мы киснем?

— А то что же? Конечно, киснете... Давайте жить, как следует...

— Антон, Антон! — послышался слабый, тревожный, опасливый голос.

— А, ну тебя... Слушайте, господа!.. тост за женщин... Пью за женщин... Тетюшка, пей за женщин...

Тост был подхвачен. Антон Михайлович подошел к Кульковой, чокнулся с нею, потом к Надежде Ивановне.

— Вы все молчите?.. — сказал он, немного наклонившись к ней. — Я даже не знаю, какой у вас голос. Если он так же прекрасен, как ваши глаза, то...

Вдруг он оглянулся. Тонкая, худая рука Нины Александровны лежала на его плече, а глаза ее смотрели на него строго.

— Ах, малютка!.. А ты тут как тут! Ха, ха! Она у меня всегда тут как тут... Инспектор!..

Он поймал ее руку и поцеловал. Надежда Ивановна, смущенная, подавленная, искала слова, чтоб как-нибудь откликнуться на все это. Она обратилась к Нине Александровне:

— Сколько мы вам хлопот доставили! Вы утомлены, кажется?

— О нет, право, нисколько! Я всегда такая... Не перейти ли нам в гостиную? Они здесь курят и шумят! — прибавила она со своей принужденной улыбкой.

Надежда Ивановна быстро поднялась; Барвинский отступил на шаг, как бы давая ей дорогу. Она, не глядя на него, пошла к двери и, не дожидаясь хозяйки, прошла в гостиную. Здесь она подошла к зеркалу и поправила волосы и, увидев, что ее щеки страшно красны, пришла в ужас.

Через минуту вошла Кулькова, очевидно, ее тоже пригласила хозяйка, а самой Нины Александровны еще не было.

— Сторецкий поехал наведаться в больницу! — сказала Кулькова. — Должно быть, скоро и Семен Иванович приедет. Вам весело?

— Да! — кратко ответила Надежда Ивановна.

— Мне страшно весело. Этот Барвинский премилый.

— Да?

— Ну, да, да! А вы разве не находите?

— Я его совсем не знаю.

— Ну конечно, и я не знаю. А так, с виду... Только у него странные глаза, не правда ли?

— Да, я тоже нахожу.

— Как будто он хочет сказать или сделать одно, а говорит или делает другое.

«А как она хорошо определила! Это совсем так, совсем так», — подумала Надежда Ивановна.

— А как вы находите хозяйку? — продолжала Кулькова.

— Она ни в чем не проявилась.

— Мне кажется, — сказала Кулькова, тихо и придвигаясь к ней, — мне кажется, что она его угнетает.

— Как угнетает?

— Да так. Ведь она гораздо старше его. Вы заметили, какие у нее морщины на лице? Я думаю, ей под сорок.

— А вам сколько, Дарья Пантелеевна? — с улыбкой спросила Надежда Ивановна.

— Мне? — Кулькова рассмеялась. — Я этого никому не говорю и вам не скажу. Но ведь я все-таки сохранилась, ведь правда — сохранилась? А про нее этого нельзя сказать. А он еще совсем молодой и, кажется, не прочь поухаживать. А она ревнует его страшно. Она следит за ним, как шпион. Вы заметили?

— Нет.

— А я заметила.

— Простите, я вас одних оставила! — промолвила, входя в гостиную, Нина Александровна. — Здесь, по крайней мере, хоть воздух есть. Мы еще не совсем устроились. Цветов нет еще. Но я своих не хотела перевозить, пожалела. Они от этого портятся. А здесь не знаю, где лучше купить.

— Конечно, у Эйлерса... Уж вы мне поверьте!

Завязался разговор о цветах. Кулькова оказалась специалисткой.

В столовой было шумно. Иногда можно было расслышать и узнать отдельные голоса. Нередко слышался голос Антона Михайловича, и тогда по лицу Нины Александровны пробегала тень. Она на секунду запиналась, как будто этот возглас прерывал ее мысли, но затем опять овладевала собой и продолжала о цветах.

Но вот оттуда послышался общий громкий крик, что-то похожее на «ура». Кого-то приветствовали.

— Это, должно быть, Семен Иванович приехал! — предположила Кулькова.

Надежда Ивановна поднялась, и Нина Александровна тоже. Через минуту Антон Михайлович, слегка пошатываясь, ввел в гостиную Семена Ивановича.

— Вот, Нина, представляю тебе — мое начальство. Дамы... дамы займут Семена Ивановича! Он для нас слишком трезв...

— Ну, полно, полно, вот еще выдумали! — возражал Семен Иванович. — Если нужно, я прикинусь пьяным. Впрочем, я всему на свете предпочитаю дамское общество! — прибавил он, пожимая руку хозяйке.

Нина Александровна тотчас завладела им, усадила около себя и начала занимать его. Она удивительно ловко умела это делать. Как-то быстро находила она темы, которые подходили к случаю.

Антон Михайлович вернулся в столовую и сейчас же снова явился, но не один, а в сопровождении всего общества. Он шел впереди, неся два бокала. За ним шли все с бокалами. Некоторые принесли бокалы дамам и тотчас же передали им.

— Господа, — сказал Антон Михайлович. — Здр... здоровье начальства!

Раздалось «ура», все чокались с Семеном Ивановичем и пили. После этого мужчины уже не вернулись в столовую, а остались здесь.

Часов в одиннадцать опять раздался залп приветствий, вернулся Сторецкий. Бутылки из столовой перешли сюда. Вместе с тем подавали кофе.

Надежда Ивановна подняла голову и увидела перед собой Барвинского.

— А вы, барынька, неприступны только для простых смертных, — говорил он, сильно запинаясь, — а красавца Черницына близко допускаете. Позвольте мне сесть между вами...

— Пожалуйста! — сказала Надежда Ивановна и, отодвинувшись, дала ему место рядом с Черницыным. Он сел.

— Вы это напрасно, барынька, расточаете перед ним благосклонность! — продолжал Антон Михайлович. — Он уже насыщен и пресыщен, потому что все женщины перед ним склоняются во прах. Дарить улыбку Черницыну, ведь это все

равно что подать милостыню Ротшильду. Ему и не нужно.

— Давайте говорить о чем-нибудь другом, Антон Михайлович! — почти строго сказала ему Надежда Ивановна.

— А разве с ним вы говорили о другом? Ха-ха-ха! Да разве с Черницыным можно говорить о другом? С ним только о любви говорят. Ну да, с Черницыным о любви, а с нашим братом-толстогубом — о серьезных предметах. Это возмутительно! Со мной женщины всегда говорят о серьезных предметах, а я не хочу говорить о серьезных предметах, я хочу говорить о любви. Давайте говорить о любви.

И он схватил ее руку.

— Антон Михайлович, ради Бога...

Надежда Ивановна встала и отошла на несколько шагов. Позади себя она услышала голос Черницына:

— Это черт знает что такое.

Потом она слышала, как Барвинский говорил с Черницыным что-то о покушении на его права и хлопал его по плечу. Черницын сердился и что-то возражал. А затем иронический голос Барвинского: «Другой петух забрался в его курятник, и он уже нахохлился... ха-ха-ха!»

Она больше ничего не слышала. Она прошла в столовую, подошла к окну и близко приникла к нему лицом. Ей хотелось закрыть уши, чтобы не слышать этого шума. Она думала о письме Стровой: «Что же это? что же это? Я никогда не видала ничего безобразнее этого человека. И это

идеал, это «светлое явление»... О Боже, как можно заблуждаться!»

Тихие шаги сзади заставили ее вздрогнуть. Она оглянулась. Перед нею стояла Нина Александровна. Лицо ее было мертвенно-бледно, губы вздрагивали...

— Простите ему... ради всего святого, простите ему!.. Вы видите, он... он не ответствен за свои слова!.. Вы это видите!

— О да, о да! Я вижу... Я и не думаю... — поспешно, горячо сказала Надежда Ивановна.

— Его слова оскорбительны, но не оскорбляйтесь... Это только слова...

— Я знаю, знаю... Ради Бога, вы успокойтесь...

— Благодарю вас!

Она протянула Надежде Ивановне руку, которая была холодна, да и в лице ее был все тот же прежний холод.

Нина Александровна вернулась, а она осталась в столовой. Было уже за полночь, когда среди громкого шума, смеха и говора в гостиной произошло какое-то новое движение.

— Едем, конечно, едем! — слышались голоса.

— Дорога плоха! — возражал кто-то.

— О, на островах отличная дорога! Я вчера там был...

— Да едем же, раз... разумеется, едем... Тут и рассуждать нечего. Я хочу развернуться... Я хочу развернуться!..

Это был голос Антона Михайловича.

Надежда Ивановна поспешила в гостиную и остановилась в дверях. Она видела, что большая группа собиралась в дорогу.

Нина Александровна стояла у рояля. Ее бледные руки были скрещены на груди, она не спускала глаз с группы, в центре которой был ее муж. Казалось, она своим пронизывающим взглядом хотела заставить его опомниться, вернуться к ней и сказать: я остаюсь. Но он не чувствовал ее взгляда.

Они уже шли к дверям. В это время она быстро обогнала их и была уже в передней. Мужчины одевались. Нина Александровна стояла у стены, плотно прижавшись к ней и как будто чего-то ждала.

Вот ее глаза встретились с его глазами, он был уже в шубе. Он сделал два шага и приблизился к ней.

— Ну что, малютка? Что глядишь? Вернусь цел и невредим. Господа, ручайтесь!

— Ручаемся! — воскликнул Тетюшин. — Моей головой ручаюсь!

— Ручаемся! — крикнули другие.

— Ну вот. Прощай, малютка!

И вышел на лестницу. Надежда Ивановна стояла тут же. Дверь на лестницу была полуотворена. Она с какой-то необъяснимой тревогой прислушивалась, и до ее слуха оттуда ясно долетели слова:

— Да ведь у вас нет красивых женщин! Вот в Вильне... Так, я тебе скажу, Тетюша, там...

Голоса замерли. Лакей захлопнул дверь.

В гостиной в это время было движение. Там остались Семен Иванович, Кулькова и молодой врач, с которым она приехала. Они искали хозяйку, чтобы проститься.

Нина Александровна вдруг точно проснулась, провела рукой по лбу и быстро направилась в гостиную. Кулькова и ее кавалер первые простились и ушли.

— А я вас довезу, Надежда Ивановна; я ведь на казенной лошади! — сказал Семен Иванович и при этом как-то угрюмо смотрел вниз. По-видимому, ему было совестно за все то, что произошло здесь.

Надежда Ивановна ничего не возразила и стала одеваться. И все-таки на лице хозяйки, когда она их провожала, была та самая улыбка, с которой она их встретила.

— А Антон Михайлович все тот же! — сказал, прощаясь с ней, Семен Иванович. — Неукротимый весельчак.

Нина Александровна улыбнулась и молча пожала руку.

Они вышли. Молча проехали они до Аничкова моста. Наконец Надежда Ивановна произнесла:

— Семен Иванович, объясните мне, что все это значит!

— А что, матушка?

— Все это. Эта поездка! Неужели вы находите, что все здесь так, как следует?

— Матушка моя, люди слабы. А когда жена имеет несчастье быть старше мужа лет на десять, то оно еще понятней! А у них еще детей нет. Ну, и скучно вдвоем.

«Только всего? Так просто!» — думала Надежда Ивановна.

— Да и вообще, — тоном размышления продолжал Семен Иванович, — семейный режим на-

чинает вырождаться. Устарелая форма! Надо выдумать что-нибудь новое. Вот отчего я и остался холостяком. Нет, матушка моя, Надежда Ивановна, не выходите замуж, не сто́ит! Право, не сто́ит.

— Нет, это все не то, Семен Иванович! Дело не в этом.

— Да, конечно. Тут простая порядочность хромает. Пить можно, и напиться иногда дозволяется. Но для этого есть трактир, а то дома, при жене... Это оскорбляет... И опять — уезжать из дому после полуночи. Да, нехорошо, нехорошо. Он все-таки испортился! Всегда у него были эти склонности, но все же владел собой.

Он замолчал, а она больше ни о чем его не спрашивала. Скоро они были на Конюшенной, и Надежда Ивановна с ним простилась.

## 5

Она проснулась поздно, с тяжелой головой. Первое ощущение у нее было такое, как будто накануне случилось что-то ужасное. Она стала припоминать.

И представилась ей вдруг маленькая, худенькая женщина с бледным лицом, с множеством седых волос на голове, со странными глазами, казалось, превратившимися в одно выражение грусти.

Да, конечно, это самое несчастное существо! Она вся в нем. Она любит его беззаветно, как слепая. И если она слышала те слова, которые он про-

изнес на лестнице, то она страшно несчастна. Какая гадость!

Возмущенная, она встала, быстро оделась и, не спросив себе кофе, села за стол и стала писать Строевой.

«Ты отличилась! Твое знание людей, которое было для меня несомненно, которому я завидовала, больше в моих глазах не существует. Да, я наконец увидела твоего героя, этого доктора Барвинского, которого ты произвела в «светлое явление». Он так ничтожен, как и все. Но он пошлее всех. Его цинизм превосходит все, что я до сих пор видела. Возьми скорее свои слова назад, потому что я возмущена. Я чувствую негодование против него за вчерашний вечер. Если бы я не смотрела на него твоими глазами, то я ничему не придала бы значения. Я только поставила бы его в ряд с другими. Но я от него ждала, ждала и... Нет, я расскажу тебе все, как было. Я посмотрю, какие ты сделаешь выводы».

И она в этом же нервном тоне, выдававшем ее глубокое негодование, описала весь вчерашний вечер.

Было около двенадцати часов, когда письмо ее подходило к концу. В передней раздался звонок. Генриетта кому-то докладывала, что она еще спит. Генриетта была убеждена в этом. Но она встала и вышла в переднюю.

Кто это? Тетюшин? Это поразительно! Он был у нее всего только один раз.

— Вы?

— Голубушка, я! Ей-Богу, я! — жалобным тоном ответил Тетюшин. — Можно?

— Конечно, можно. Но чем объяснить это?

— Объясните, чем хотите, только дайте стакан воды! Адская жажда! Знаете, с перепою. Голова трещит неистово; а то квасу, если есть.

— Входите, входите.

Она притворила дверь в спальню, где был беспорядок. Тетюшин снял пальто в передней и вошел.

— Генриетта, дайте мне кофе, а доктору достаньте квасу.

— Благодетельница! Ну просто благодетельница! — воскликнул Тетюшин, схватил ее руку и поцеловал. — А голос-то, голос! Обратите внимание!

Голос, действительно, у него был убийственный, да и на лице отразились все признаки бессонной и пьяной ночи.

— Садитесь же. Откуда вы?

— Откуда? Ха! А вот дайте хорошенько подумать. Во всяком случае, не из хорошего места.

— Зачем же вы мне об этом говорите?

— А вы же спрашиваете!

— Ну, объясните же, по крайней мере, почему вы из нехорошего места прямо ко мне? Надеюсь, что между этими двумя обстоятельствами нет никакой связи.

— Из нехорошего да прямо в хорошее! Это так! А почему? Да потому, что вы добрая.

— Не понимаю.

— Объясню вкратце. У меня имеется жена. Вам это известно...

— Я думаю. Я знакома с Марьей Степановной.

— Да-с, так имеется жена. Прекрасная женщина — моя жена, но с пороком: ревнива, как сорок

тысяч Отелл. Чуть новое знакомство, где есть женщина, как уже она ненавидит. И что ревновать, посмотрите на меня, есть ли тут что ревновать? Ну-с, и я уже ее, если куда зовут, с собой не беру, потому что непременно скандал устроит: либо в глаза вцепится, либо в истерику упадет. И вот теперь, как вам уже ведомо, я дома не ночевал, и, следовательно, так как я ее характер прекрасно знаю, она будет ходить, а может быть, уже и ходит по всем знакомым и разыскивает, а дома такое мне сражение устроит, что я рискую потерять остатки моих волос.

— Неужели вы деретесь?

— Случается, голубушка, случается. Так вот, к вам и пришел. Я уже всех прочих предупредил: ежели спросит, что и как — ей известно, что я на обед к Бобу поехал, — так скажите, голубушка, что в одиннадцать часов вечера вас внезапно к больной позвали. Роды, понимаете, трудные роды! А вы за мной на подмогу послали, понимаете? Ну, и вот там я провел всю ночь. С больной промучился, понимаете? А ей даже сторублевку отдам, которую якобы получил за визит, отступного.

Надежда Ивановна невольно неудержимо рассмеялась.

— Боже, до чего доводить семейное счастье! Но, послушайте, ведь вы специалист по нервным и душевным болезням. Я, положим, тоже, но как женщину-врача меня могли позвать, — но вы-то зачем туда попали?

— Все равно, это ничего! Такой случай... не было по близости акушера. Ну, одним словом, согласны?

Надежда Ивановна подумала.

— Так согласны? Понимаете, этим же вы сохраните семейный мир...

— Семеный мир! Как вам не стыдно! Разве он у вас есть? Разве может быть мир в семействе, где муж ездит в какие-то места?.. Ну хорошо. Я скажу так, если меня спросят. Это глупо и дурно, но я скажу, потому что мне жаль вашу жену. Хорошо...

— Вот спасибо! Голубушка! Я говорил, что у вас добрая душа. Ага, вот и квас. У вас и немочка добрая! Ну, вот выпью квасу, и на обход. А вы не поедете?

— Нет, мне нездоровится сегодня. Постойте... Я хочу вас спросить. Вы давно знаете Барвинского? И он всегда был такой?

— Всегда. Решительно всегда.

— И никогда с ним не бывало перемен?

— Видите, не перемена... Что называть переменой?.. Во время студенчества я ничего не замечал, но лет восемь назад с ним действительно случилось что-то странное. Мы даже думали, что мозговая форма. Стал всех дичиться, и месяца полтора прятался от людей. Потом прошло. А затем, лет шесть тому назад, он вдруг исчез, и как-то внезапно, и я его с тех пор не видал.

Он допил квас, опять поцеловал ее руку и исчез.

Надежда Ивановна отослала Строевой письмо и в этот день никуда не выходила. Это был для нее тяжелый день, но потом все вошло в норму. Она ходила в больницу, встречала все тех же товарищей. Барвинский вступил в отправление обязанностей.

Надежда Ивановна часто заходила в больницу в неурочные часы и почти всегда там встречала Барвинского. Его можно было видеть постоянно в какой-нибудь палате с больными. Семен Иванович указывал на него как на пример усердия. Казалось, что он любил свое дело и посвящал ему много времени.

Не раз присутствовала она в сборной, когда подымался какой-нибудь специальный спор. Уже это было новостью, что здесь говорили иногда не о лошадях, а о медицине. Прежде это случалось только тогда, когда бывал Семен Иванович. При нем лошадиный спорт был неуместен. Теперь и Барвинский вносил некоторую серьезность.

В первое время Черницын начал было самоуверенно, авторитетно возражать ему, но Барвинский сразу обнаружил его невежество; тот покраснел и больше не спорил. У него была особенная манера. Он очень любил показать свое превосходство, и он, действительно, знал свою специальность лучше многих. Но делал он это как-то незаметно, не выставляясь и не подчеркивая своих знаний. Оппонент признавал сам себя побежденным и замолкал...

«Он все-таки серьезнее других, — думала себе в утешение Надежда Ивановна, — знает свой предмет и действительно много работает. Но от этого до того идеала, каким выставляла его Строева, очень далеко».

Прошло уже около месяца с тех пор, как появился Барвинский. Надежда Ивановна составила себе о нем определенное мнение: хороший врач, неглупый человек, но решительно ничем не

выдающаяся личность. Слаб, склонен к компромиссам, увлекается теми же пустяками, как и другие, как бега и скачки. Вообще в нем была сильно развита страсть к лошадям, он часто говорил о своем Буке и однажды даже приехал верхом в больницу, вызвал всех товарищей во двор и показывал им своего коня.

Нина Александровна дня через два после обеда сделала ей визит. Она посидела буквально пять минут, поговорила о музыке и исчезла. А Антон Михайлович все как-то не успевал побывать у нее и чуть не каждый день извинялся перед ней. Наконец однажды она ему сказала с некоторой даже досадой:

— Но право же, это необязательно, Антон Михайлович! Можно обойтись и без этого.

Это было через месяц после обеда. И на другой день после этого разговора он к ней явился. Она этого не ожидала и была крайне удивлена.

— Ага, вот видите! — говорил он. — Вы сказали, что можно обойтись, я и устыдился. Вот и пришел. Но знаете, я давно, давно собирался извиниться перед вами. Но это было так скверно, что даже извиняться совестно...

— О чем вы говорите, Антон Михайлович? — спросила она.

— О том вечере, у нас, помните... Я наговорил вам каких-то дрянностей!..

— Да, вы вели себя тогда отвратительно.

— Ну, вот спасибо, что вы, по крайней мере, прямо это сказали. Так извините. Но я очень уже перепил тогда. Обыкновенно я мало пью. Мне жена не позволяет. А тут я перешел грань. Есть

такая грань, до которой я — человек, а чуть переступлю один миллиметр, как превращаюсь в животное. Вот тогда это и случилось. Что же вам пишет Строева из Вильны?

— Строева?

Надежда Ивановна почему-то вздрогнула. Ей сейчас же припомнились письма Строевой о нем и та разница, какую она сама нашла. Ею вдруг овладела решимость не пропустить этого случая и поговорить с ним о нем самом.

— Ах да, Строева! — сказала она. — Я помню ваш отзыв о ней. Помните, вы сказали, что в ней много экзальтации. Это правда! Если бы вы знали, что она мне писала о вас! О, гораздо лучше, чем вы есть в действительности.

— О, действительность! Почем они знают мою действительность?

— Как?

Он произнес эту фразу странным тоном, как будто не ей говорил, а просто для себя.

— Кто они? — спросила она еще раз.

— Они все. И Строева, и вы в том числе. Да даже хотя бы и я сам.

— Я этого не понимаю... Разве это не действительность, то, что я вижу, как живем мы все каждый день?

— Мы не живем. Разве мы живем?

— Но что же?

— Жизнь, это что-то сильное, прямолинейное, органическое! Живет растение. Ему нужно тянуться вверх, и оно тянется неуклонно. Никогда оно не растет в сторону или вниз, а всегда-всегда вверх. Никогда листья его не бывают синие или

розовые, а всегда зеленые. Потому что такими они должны быть, это их свойство, это их природа...А мы, мы постоянно уклоняемся, виляем, лавируем, ничего не доводим до конца. На каждом шагу уступки, уступки, уступки... Мы подчиняемся нашим слабостям, потому что у нас нет никакой силы... Мы какие-то швабры, которыми подметают пол. Постойте... К чему это я говорю? Давайте поговорим о музыке. Кстати, вот пианино, и вы музыкантша.

— Нет, нет...

Она уже вся насторожилась. Она услышала от него новые слова, не похожие на все те, что до сих он говорил, и как действовал.

— Нет, я хочу говорить об этом...

— Да зачем? Ведь все равно не станем расти прямо, как дерево, а будем норовить вниз и вбок. Давайте говорить о музыке!

Она смотрела на него, и что-то новое находила в лице его. Какая-то скорбная складка. Сердце у нее забилось сильно.

— Слушайте, Антон Михайлович! — промолвила она с видимым волнением. — Ведь надо говорить о том, о чем заговорилось... Заговорилось само собой, значит — так и надо...

— Да что ж вы, может быть, рассчитываете услышать от меня новое слово? — произнес он с иронической усмешкой и отрицательно покачал головой. — Так это напрасно! новых слов вовсе не бывает, да и не нужно. Слишком много и старых хороших слов, которые остаются только словами... А старые вы, конечно, все знаете...

— Иногда бывает необходимо напоминать старое...

— Что ж, извольте... Вот я говорю, что живет дерево. Да, это верно. Я хочу сказать этим, что в жизни дерева есть несокрушимая логика. Ему надо расти вверх, и оно растет вверх, несмотря ни на что. Поставьте ему препятствие — оно пробьет его или само погибнет; пробьет, если окажется по силам, погибнет — если свыше сил, потому что не может идти против себя. Подрежьте ветки внизу, помешайте ему выпустить ростки там, где ему удобнее, оно выбросит их в другом месте, вверху. Оно не может отказаться от своей природы. Это его логика, по которой оно живет и без которой дерево — не дерево, а что-то другое. У зверя тоже есть логика. Львица любит детей и, если им грозит опасность, защищает их до смерти. Любит, так уж до самой смерти, вот в чем неотразимая логика! Я должен, и потому иду во что бы то ни стало до конца, должен почему бы то ни было, по природе ли или потому, что это мое убеждение, — это все равно. А мы — мы ведь все порядочные люди. Посмотрите кругом — ведь среди нас нет отъявленных негодяев. Никто из нас не любит зло. Спросите, кого хотите: меня, вас, Тетюшина, Кулькову, кого угодно, и все скажут добросовестно, что они противники всякого зла, все любят добро, и это правда: в самом деле, мы добро предпочитаем злу. Но делаем мы на каждом шагу зло. Если бы у нас была такая же логика, органическая логика, логика жизни, как у растений, как у львицы, мы должны были бы идти к добру до смерти... Но мы не идем, а постоянно уклоня-

емся. Чуть для добра потребуется усилие, а главное — лишение, мы сейчас куда-нибудь в сторону, сейчас какой-нибудь софизм, вроде того, что это, мол, глупо, что никто, мол, не обязан жертвовать и проч. И все-таки мы хорошие люди, все нас так считают, и мы сами тоже...

— Но почему же это так? Почему?

— Почему? Гм... Да ведь вы скажете, что я сумасшедший. Хотите знать, почему? Да вот вам: потому что мы слишком здоровы. Да, да, удивляйтесь, сколько вам угодно. Я говорю: потому что мы слишком здоровы.

— Я не понимаю этого, Антон Михайлович.

— Не понимаете, и не надо! — сказал он гораздо менее энергичным тоном, как бы уже несколько уставая.

— Но как же это? Здоровье, ведь это идеал, это то, к чему мы стремимся. Мы с вами врачи, Антон Михайлович. Мы посвятили жизнь свою на борьбу с болезнями.

— Не понимаете, не понимаете, это правда! Ну, и не понимаете-то вы оттого, что вы слишком здоровы. О, вон какие у вас щеки: кровь с молоком! Как же вам понять? Ха-ха-ха! Как дойти до этого?

Она почувствовала, как кровь прилила к ее щекам и они загорелись.

Она чувствует, что, если он уйдет, не досказавши все до конца, она замучится.

— Так объясните же, Антон Михайлович. Зачем вы остановились на полуслове? — воскликнула она.

Он усмехнулся.

— Объяснить, объяснить!.. Женщина всегда с вопросом... Вечно у них недоумение, все им объяснить надо. Да и объяснить-то это нельзя. Нельзя вот на этом столе сыграть симфонию. Ведь нельзя? Пусть у вас есть и талант, и техника, и знание, а все-таки симфонии не сыграете на этом столе, потому что в нем струн нет, а струны именно и нужны; а у стола нет струн...

— Значит, вы думаете, что я не смогу понять вас...

— Понять? Отчего же! Мы все отлично понимаем. Ума у нас много, и мы прекрасно им владеем. Мы хорошо знаем, что должны и чего не должны, что благородно, честно, возвышенно и что подло. Это теперь уже всякий гимназист третьего класса знает! Но знать, и делать, и жить, это совсем разные вещи. Не понимать тут надо, Надежда Ивановна, а чувствовать. Прочувствовать надо всем своим существом, насквозь до последней капли, — вот что надо тут. Ну, а вот этого-то у вас и не найдется. Потому что... кровь с молоком... Вы говорите: здоровье — это идеал... Так — но идеал чего? — идеал покойной, нормальной, буржуазной жизни. Я ничего не имею против буржуазной жизни и против этого слова. Слово хорошее, право, прекрасное слово! Оно означает, что всего в доме много, большой запас и крупы, и муки, и дров, и масла; всегда на столе кусок мяса есть, всегда есть теплая одежда и удобная постель. Это все очень хорошо, но только тогда хорошо, когда есть у всех; тогда не надо ни подвигов, ни жертв. Но когда у одного все это есть в изобилии, а у другого нет ничего, тогда нужны жертвы. А

здоровье и жертва — это враги. Здоровье предъявляет страшные требования. Оно требует мягкой постели, вкусной пищи, приятных удовольствий, нормального восьмичасового сна, теплоты, комфорта, музыки, поэзии. Оно этим питается, этим живет. Попробуйте отнять у себя две ночи сна, здоровье сейчас запротестует, потребует реванша и свалит вас в постель и прикует вас к подушке. Оно начнет протестовать ломотой во всем вашем теле, мигренью... Попробуйте не есть лишних пять часов, здоровье потребует вас к столу, к обильной пище...

— Так вы хотите сказать, что надо бороться с здоровьем, надо быть больным? — с широко раскрытыми глазами спросила Надежда Ивановна.

— Да, да...

И он вдруг поднялся и протянул ей руку.

— Прощайте! Я знаю, что мои слова показались вам бессмысленным бредом... Пожалуй, они и похожи на бред, но... Надо быть хоть немножко больным, чтобы понять.

— А вы... вы разве...

— Я? Вы хотите сказать: разве я больной? О нет, я здоров! Вы же видите? Ну, прощайте, Надежда Ивановна. Надеюсь, вы не забудете, что на Кирочной улице живет лекарь Барвинский... Кланяйтесь Строевой. У нее, право, хорошая душа, только она... Она тоже чересчур здорова...

Он ушел. Надежда Ивановна проводила его, потом вернулась в комнату, присела на диван и долго смотрела в одну точку, и в голове ее были какие-то неопределенные, неясные мысли.

Потом она быстро встала, прошла к письменному столу, взяла бумагу и перо и поспешно начала писать Строевой.

## 6

Это было в конце января. Праздники прошли давно, осталось только воспоминание чего-то суетливого, крикливого и в то же время пустого.

Надежда Ивановна переживала теперь странное состояние душевной пустоты; прежде хоть чего-то ждалось, каждый день сердце билось сильно от каких-то неопределенных, ни на чем не основанных надежд, но «что-то», то неизвестное что-то, которого она ждала, все не приходило, и наступало утомление. Это не было разочарование, потому что она ничем не была очарована. Это была усталость души. Врачи наконец собрались отплатить Барвинским за их гостеприимство. Был устроен по подписке обед в «Медведе». Были приглашены Антон Михайлович и Нина Александровна.

Этот обед кончился более прилично, чем тот, который был у них в квартире. По обыкновению, Тетюшин выпил неумеренно и под конец расходился, звал всех куда-то за город, требовал троек. Но это не встретило отклика.

Барвинский на этот раз был очень осторожен; он налил себе стакан вина и этим ограничился.

— Нет, нет, — говорил он, — мне малютка окончательно запретила.

— Ого! — говорил Тетюшин. — Да вы, я вижу, совсем приручили его, Нина Александровна.

— Приручила, брат, приручила, что поделаешь! Взялся за гуж... Супружеская жизнь требует жертв. Вот и я жертвую собой.

Нина Александровна при этом слегка покраснела, но в глазах ее не было того тревожного блеска, который горел в них тогда. В них даже явилось выражение некоторого спокойствия.

Можно было заметить, что и Сторецкий воздерживался, и, когда Тетюшин лез к Барвинскому со своими приставаниями выпить, Сторецкий останавливал его.

Надежда Ивановна раза два заходила к Нине Александровне днем и всегда аккуратно получала ответные визиты. Это делалось любезно, корректно, но холодно. Внутренний мир этой женщины оставался для нее загадкой.

Барвинский уже получил в ее классификации людей очень определенное место. Она как-то резко делила его на две личности. Как частный человек, это был слабый характер, любитель хорошо пожить, хорошо поесть и попить, человек, ценивший комфорт, обожавший лошадей и в особенности своего Буку. Этот брак с Ниной Александровной был обыкновенный брак, не совсем по расчету, но далеко не лишенный и этих соображений. Он уважал ее, старался не огорчать, но при случае охотно давал волю страстям, а потом каялся.

Не то же ли самое представлял из себя Тетюшин, который ведь тоже с уважением отзывался о своей жене и на каждом шагу обманывал ее? Словом, в этой части, в личной жизни и в личных отношениях, это был человек, как все, не лишен-

ный порядочности, но так же, как и все, склонный к уклонению в сторону пошлости.

Но другим он являлся, когда дело шло о его специальности. В больнице, среди больных, в особенности когда требовалось его знание, его работа, на него как будто снисходило какое-то вдохновение. Он способен был по десяти часов просиживать в кабинете над работой, забывал в это время о пище и питье, часто жертвовал даже своим любимым удовольствием — бегами, которые он вообще посещал исправно. Эта черта решительно извиняла его в глазах Надежды Ивановны. Но в этом отношении он далеко не был одинок. Точно так же относился к делу и Семен Иванович, хотя был уже старик, а значит, и слабее его. Недалеко от этого был и Сторецкий. Вообще, среди врачей Надежда Ивановна видела много людей, способных жертвовать своим покоем для дела.

Барвинский был то что называется талантливый, дельный врач. Он умел, ему только известными способами, овладеть доверием своих пациентов. Вся больница, через месяц после его прибытия, уже обожала его, в особенности женщины, которые при его появлении прекращали все свои выходки, смолкали и смотрели на него влюбленными глазами. Он умел как-то особенно обращаться с ними, или, может быть, у него был такой взгляд. Сам он объяснял это смелостью и решительностью, с которыми он приступал к делу. Для него не существовало буйных, опасных больных, он входил к ним, как к себе в кабинет, и начинал разговор таким тоном, который они понимали.

«Сумасшествие, — говорил он, — это есть только особое направление ума. Надо уловить это направление. Если вы здоровому человеку — глубокому пессимисту — станете расписывать прелести жизни, вы его не тронете. Если вы смехуну станете рассказывать какую-нибудь печальную историю, он все будет находить в ней что-нибудь смешное. Ум сам себя ограничивает или направлением, или настроением, или специальностью. Затейте с технологом интересный разговор о поэзии Торквато Тассо, он будет хлопать глазами и скучать».

Не раз приходилось Надежде Ивановне видеть Барвинского в ученых собраниях. Там он сразу завоевал себе особое место. Он выслушивал реферат или доклад, потом замечания и возражения, потом сам выступал, под конец. Он говорил не слишком резко, но прямо и определенно, и если того заслуживало дело, сдабривал свою речь такой иронией, такой насмешкой, что от противника ничего не оставалось.

Она любила слушать его в таких случаях. Кроме того, она познакомилась с его работами. Они были не велики, но в них всегда было что-нибудь свое, оригинально освещенное, ясно выраженное. Слышала она о диссертации, которую он готовил, — ей говорили, что это будет замечательная вещь, но сама она проверить этого не могла.

У него несомненно был живой, деятельный ум, которому притом все давалось легко; к тому же он далеко не все свое время отдавал специальности. Напротив, никто так не любил развлекаться, как Барвинский.

Каждую неделю они ездили в оперу и, кроме того, посещали все интересные спектакли. Часто он с женой выезжал за город на своей превосходной паре в шикарных красивых санях, и по многу часов они катались на островах. Каждое утро, кроме того, он один катался на своем Буке.

Он исправно посещал бега, часто появлялся у знакомых, страстно играл в винт и нередко собирал друзей у себя.

Словом, человек жил, сколько мог, по-видимому, стараясь не пропустить ни одной минуты без удовольствия.

И мало-помалу, дав ему определенное место среди своих знакомых и причислив его к так называемым «порядочным людям» — слово, которое давно уже имело для нее довольно смутное значение, — Надежда Ивановна перестала о нем думать.

И вот, в один скверный петербургский день, Надежда Ивановна сидела одна в своей квартире.

Уже пробило три часа. На улице стали зажигать фонари, от которых, однако, света не прибавлялось. Должно быть, мороз крепчал, потому что на перекрестке развели костер. Пламя его, окруженное непроницаемым туманом, было тускло. Туман давил его со всех сторон, мешая ему подыматься к небу.

Вдруг она пугливо вздрогнула. В передней раздался сильный звонок. От неожиданности у нее сильно, даже с болью, забилось сердце.

«Кто это?» — подумала она. Но кто бы ни был, ей было неприятно подумать, что с кем-то надо говорить, принимать кого-то. Едва ли это из

больницы. Часто приходили оттуда просить ее подежурить за кого-нибудь. Но сегодня она написала, что больна. Может быть, частная практика? Обыкновенно она радовалась этому, но сегодня и это ей казалось несвоевременным и тяжелым.

Генриетта, сидевшая в кухне и, по всей вероятности, испытывавшая те же чувства, вскочила и побежала в переднюю. Она отперла.

— Мальвинская, Надежда Ивановна, здесь живет? — спросил женский, несколько грубоватый, голос.

Надежда Ивановна выпрямилась и с ожиданием подняла голову. «Кто это? Кто это?» Что-то страшно знакомое послышалось ей в этом голосе, настолько знакомое, что ей было больно от того, что она не могла догадаться.

— Она дома? Ее можно видеть? — продолжал голос после того, как Генриетта дала утвердительный ответ.

— Я доложу... Я спрошу... Как сказать об вас?

— Нет, нет, не надо... Если она дома, я пройду прямо...

И гостья уже поспешно снимала в передней шубу и калоши. Вдруг Надежда Ивановна вскочила и стремительно побежала в переднюю. Через две секунды она горячо обнимала гостью.

— Каким образом? Когда? Ни слова не написать! Как не стыдно! Генриетта, зажгите свечи!.. И еще в такой скверный день. Впрочем, это хорошо. Я думала, что я окаменею сегодня.

— Как? И у вас каменеют? О, этого я не ожидала! — говорила Строева, рассматривая Надежду

Ивановну при свете лампы в передней. — Переменилась к худшему! — сказала она.

— Неужели к худшему?

— И к худшему, и к лучшему, смотря по тому, что кому надо. Ты похорошела, но зато и испортилась! Мрачная складка, мрачная складка! Это мне не нравится... Помнишь, какие у нас были веселые лица в Цюрихе?

— О да, как не помнить! Но то было время надежд, а теперь...

— И ты, и ты! Я не хочу слышать этого ужасного тона. Впрочем, в таком климате и соловей закаркает вороном! Ну, рассказывай и слушай, слушай и рассказывай. Я приехала на два дня, только поглядеть на тебя. Больше никого и ничего не хочу видеть, да и некогда, — работы у меня по горло.

— Значит, ты довольна?

— Работой довольна. Но жизнь тухлая, ах-ах, какая тухлая жизнь!

Они перешли в гостиную. Генриетта уже зажгла там свечи. Хозяйка и гостья пристально рассматривали друг друга.

Строева была высокого роста, прямая, плечистая, с грубоватыми неуклюжими движениями, с мускулистыми большими руками, с резкими чертами лица, в котором было больше мальчишеского, чем женского. На ней была темная шерстяная юбка и темная суконная блуза, подпоясанная ременным поясом. Волосы были коротко острижены. Во всей ее повадке, манерах было еще много студенческого.

Она тотчас же принялась курить и при этом говорила много и громко.

— Дай чаю или чего-нибудь. Надо промочить горло. Я ведь прямо с поезда! Мчались страшно, некогда было перехватить стакан сельтерской воды. Но отчего же ты такая кислая?

— Так, без достаточных оснований. Но нет оснований быть другой.

— Как нет? Разве у тебя мало работы? Нечего делать?

— Нет, работы довольно и дело хорошее. У нас около двух тысяч больных — где же тут скучать по работе? Да ведь сама ты писала, что нельзя жить одной работой, нужны и люди.

— Неужели людей нет? В Петербурге-то? В этой «бездне греховной», где кишит столько народа? Не поверю. Я здесь прожила когда-то пять лет и встречала много хорошего народу...

— Да, когда была юной курсисткой... Я тоже. Но тогда у нас были другие глаза, другие требования от людей. Горячо говорит, глаза горят, честные слова, искренность в голосе, в лице, — вот тебе уж и человек, и явление. Ему и руку жмешь с жаром, а то и сердце сильно забьется. И еще влюбишься на неделю... А теперь ведь мы с тобой уже наизусть знаем все честные слова, и нас ими не удивишь. Э, ну что это я сразу стала угощать тебя заунывными песнями! Расскажи лучше о себе.

— Что же мне тебе сказать о себе? Я живу в укромном уголке. Я все думала: вот у нас, в нашей серой Палестине, люди все простые, одной, много двух пядей во лбу, но зато там, в огромном муравейнике, который называется столицей...

— В муравейнике — муравьи, только и всего. Это и в порядке вещей.

— Постой, постой! Давай-ка сядем и разговоримся, как следует. Мало приятного в твоих речах, мой друг Надежда Ивановна, да и лицо у тебя такое же, как и слова. Что же мой Барвинский? Расскажи про него. Неужели ты и теперь будешь говорить, что он такой, как все?

— Несколько лучше. Он умнее многих, он толковый врач, хороший работник. Ну, вот и все.

— Неужели все? Ну, я думаю, ты просто ослепла. Ты, должно быть, мало интересовалась им. Какую он жизнь ведет?

— Такую же, как и все, только пошире, потому что у его жены большие средства. Другие добывают практикой и жалованьем, а он на готовом.

— Ну, это я знаю, но это ничего не значит. Но что он делает?

— Что он делает? Ты хочешь, чтобы я перечислила тебе его дела? Он ходит в больницу и там работает, — он очень усердно работает, но у нас и Семен Иванович ему не уступает, и Сторецкий с ним поспорит, даже и Тетюшин, когда не пьян, увлекается своим делом. А в остальное время он устраивает обеды и ужины, ездит на бега; катается с женой в шикарных санях, ездит верхом на лошади, играет в винт...

— Это неправда! — воскликнула Строева и энергично поднялась с места и заходила по комнате. — Ты просто не наблюдала его, тебе не было до него дела, вот и все.

— Мне было слишком много до него дела, гораздо больше, чем он этого стоит. Я так пристально наблюдала его, как будто это был мне близкий человек. О, да ведь я писала тебе обо всем этом; я избегала подробностей, но знаешь, это было так тяжело, так мучительно. Давай говорить о другом.

— Нет, подробности, подробности... Этот человек меня страшно интересует! Говори, говори...

— Говорю тебе, что мне это мучительно.

— Нет, Надежда Ивановна, так нельзя. Пусть будет мучительно. Пойми же ты, что я тебе не верю, не верю твоим впечатлениям. Они слишком не похожи на мои. Если бы ты знала, на какую высоту я его поставила! И вдруг ты хочешь, чтобы я без бою стащила его оттуда, с высоты, и швырнула под ноги. Говори, Надежда Ивановна, все говори.

— Ну хорошо. Но прежде выпей чаю. Генриетта, вы дадите чаю? Это мой друг, вы должны ее любить. Она с вами тоже будет говорить по-немецки.

— А, вот прекрасно! — воскликнула Строева. — А я уж, кажется, разучилась... Практики нет. У нас в больнице казначей немец, но с ним приходится говорить только раз в месяц, когда получаешь жалованье. Зато я по-польски порядочно научилась.

Генриетта организовала чайный стол, притащила самовар и закуски, какие нашлись в доме.

Маленькая гостиная наполнилась паром; налили чай.

Надежда Ивановна принялась рассказывать.

Она рассказывала о первой встрече с Барвинским, потом об обеде с его ужасным концом, о его визите и о теперешней жизни.

Было уже около десяти часов. Самовар погас. Они все еще громко и горячо делились своими впечатлениями, но в голосах слышна была уже усталость.

— А, да, я и не спросила! Ты меня поместишь у себя? У тебя есть где? — промолвила Строева.

— Ну еще бы! Как не стыдно спрашивать?

— Кажется, был звонок? К тебе могут прийти?

— Кажется, был... А может быть, это нам показалось.

Но Генриетта уже стучала засовом: в передней слышались мужские голоса.

— У них гостья. Только сегодня приехали... — говорила Генриетта.

— Гостья? Тем лучше. Вот и мы будем гостями...

— Ты побледнела, Надежда Ивановна? Что это значит? Кто это? — спросила Строева.

— Неужели ты не слышишь? Ведь это... это Барвинский.

— Он? Но это похоже на чудо... Он не один...

— Это товарищ наш, Тетюшин. Вот и отлично, — прибавила Надежда Ивановна. — Ты увидишь его в его любимом обществе.

Тетюшин уже стоял на пороге, в пиджаке, со шляпой в руке.

— Впускаете путников? — спросил он, по обыкновению, с комическим видом.

Вслед за ним появился Барвинский и, увидев Строеву, радостно поднял руки:

— Анна Сергеевна! Создатель! Вас ли я вижу? Простите, Надежда Ивановна, — прибавил он, пожимая руку Строевой, — что я прежде приветствую вашу гостью. Это противно всем правилам приличия, но ведь мы с Анной Сергеевной старые товарищи.

— Ах, пожалуйста... Это все равно... У меня первое место принадлежит ей.

— Вы нам очень рады, конечно? — спрашивал в то же время Тетюшин.

— Очень рада, разумеется! Садитесь. И если хотите, пейте чай.

— Чай? Фи, какой скучный напиток вы нам предлагаете!

— Ну, просто так садитесь.

— Сесть-то мы сядем, — говорил Тетюшин, — только особенно рассиживаться не будем.

— Отчего это?

— Так. Тому есть важные причины.

— Говорите ваши причины.

— Да уж не знаю... Говорить ли? Дело осложнилось...

— Это я, должно быть, осложнила его? — спросила Строева.

— Именно-с. Во-первых, мы не знаем ваших склонностей, а во-вторых, вы с дороги, значит — устали. А мы хотели предложить... Бобочка, говори ты... С какой стати ты заставляешь меня парламентировать? Ведь я не красноречив.

— Дело очень простое, — сказал Барвинский. — Мы решили прокатиться в Крестовский сад и хотели просить Надежду Ивановну, чтобы она сделала нам честь и присоединилась к нам.

— Что за мысль? Откуда она явилась! — воскликнула Надежда Ивановна и в то же время вопросительно посмотрела на Строеву.

— Ну, откуда вообще мысли приходят в голову? Из воздуха-с! Если мысль скверная, то ничего тут нет удивительного, потому что воздух промозглый, туманный, адский. Понимаете ли, сидели мы с Бобочкой в больнице, а потом вышли, и эта промозглая скверность охватила нас, и так это мне и ему захотелось чем-нибудь рассечь, понимаете ли, рассечь эту стопудовую атмосферу... Понимаете ли, она нас давит, а мы на нее, извините за выражение, наплевать хотим. Он сказал-: поедем на острова! Я ответил: поедем! Он сказал: да ведь нам вдвоем будет скучно! Я промолвил: - попытаем счастья у Надежды Ивановны! Он сказал: отлично! Я в ответ ему: великолепно! Вот и покатили к вам. Ну-с? Теперь наша судьба в ваших руках, — решайте.

Надежда Ивановна молчала. В ней боролись странные чувства. Ей, в сущности, очень хотелось прокатиться, но она боялась, что прогулка может принять тот опасный оборот, пример которого она уже видела после обеда у Барвинских. То вдруг ей казалось, что это невозможно, что Барвинский последнего времени достаточно сдержан и порядочен.

Но главное — она не могла оставить Строеву, а вопрос о ней до сих пор не был поставлен.

Но Строева сама выручила ее с той простотой и прямотой, с какой она всегда подходила ко всякому делу.

— Так как меня вы не зовете, то вопрос должна решить Надежда Ивановна! — сказала она.

Тетюшин даже вскочил с места.

— Как не зовем? С чего же это вы взяли? Мы не смели предложить вам, потому что не знаем еще вас, вашего характера. Но разве об этом может быть спор? Одна дама — украшение жизни, а две дамы — два украшения!

Надежда Ивановна в это время встала и ушла в спальню, а затем позвала оттуда Строеву:

— Анна, иди сюда на минуту!

Строева пошла в спальню.

— Ехать? — тихонько спросила ее Надежда Ивановна.

— Непременно. Я тебе говорю: это чудо! Он был нам нужен, он и явился. Я хочу его исследовать. Я хочу показать его тебе таким, каким его знаю. Я хочу разбить тебя в пух и прах. Иди, Надежда Ивановна, объясни им, что мы едем, — а я поправлю свой туалет.

— Ну, ну, что так долго советуетесь? — громко спрашивал их из гостиной Тетюшин. — Неужели вы можете не согласиться? Вы этим нас убьете, предупреждаю.

— Мы согласны, мы едем! — откликнулись дамы.

— Вот это по-товарищески! Ну, так увидите, каким прекрасным поведением мы отплатим вам за доверие! И знаете, ведь у Бобочки сани широкие. Мы заедем за Сторецким и его прихватим. Он будет в восторге. Он любит все неожиданное. Ну, так одевайтесь! Скорее! Надевайте шубки, и делу конец.

Через несколько минут все уже вышли.

## 7

Сторецкий был свободен и выразил восторг. Его усадили с дамами, так как он был тоньше остальных мужчин.

Тетюшин всю дорогу балаганил, выкидывал разные штуки и так потешно, что нельзя было не смеяться, и все смеялись до упаду.

Барвинский говорил мало, но часто вполголоса напевал что-то и иногда насвистывал. Глаза его смотрели весело. Он, очевидно, был в хорошем настроении.

Дорога за городом была прекрасная. Чудные лошади Барвинского мчались стрелой.

— Ну и лошади у тебя, Антон Михайлович, просто черти! — с искренним восторгом воскликнул Сторецкий.

— А вы же, Григорий Игнатьевич, бегунов не признаете, а только скакунов одобряете, — возразил Тетюшин.

— Я не признаю бега как спорт, это другое дело. Спорт должен заключать источник наслаждения в себе самом. Здесь я не спортом занимаюсь, а катаюсь. На бегах и скачках я смотрю, как зритель, и нахожу, что скачки красивы, интересны, а бега скучны. Бега — это какая-то коммерческая игра, не более, вроде рамса и мухой.

— Видно, ты недостаточно углубился в дело, Григорий Игнатьевич, — очень серьезно возразил Барвинский. — Начать с того, что в лошади, бегущей хорошей рысью, больше красоты, чем в скачущей. В скачущей есть известная смелость, отвага, это так; но собственно настоящая красо-

та — в беге. Ты наблюдал, как красиво рассекают воздух ноги хорошего бегуна? Как удивительно симметрично работают все его члены! Хороший рысак не бежит, а плывет. Нет, я люблю скачки, я скачками способен увлечься до азарта, но истинно эстетическое наслаждение я получаю только на бегах...

Сторецкий стал горячо возражать. Барвинский со своей стороны не уступал ему. Завязался жаркий спор. Подробно и точно разбирались все данные за и против бегунов и скакунов.

Надежда Ивановна ежеминутно тихонько подталкивала локтем Строеву, а та насторожилась и с глубоким вниманием не столько слушала то, что говорил о лошадях Барвинский, сколько дивилась этой горячей убежденности.

— Да вот что я тебе скажу, — промолвил Барвинский. — Я бы никогда не завел скаковой конюшни, а рысистую заведу...

— Неужто? — спросил Тетюшин.

— Да. Это у меня решено. С будущего года буду пускать лошадей на призы.

— Вот так штука! — воскликнул Тетюшин. — Буду всегда ставить на твоих лошадей. Ты ведь счастливый, тебе во всем везет! И Буку пустишь?

— Эх ты! А еще спортсменом считаешься! Как же ты не понимаешь, что Бука скакун? Ведь я на нем верхом езжу... Вообще, я намерен серьезно заняться беговым спортом.

— А медицина? — вдруг вырвался вопрос у Строевой.

— Медицина само собой. Ведь вы, Анна Сергеевна, не двадцать четыре часа в сутки занимае-

тесь медициной, а иногда моетесь и расчесываете себе голову, шьете кофточку и тому подобное. Вообще, ничего не надо преувеличивать.

— Да, конечно. Но тоже и служить двум богам, и притом еще столь различным... Я прической и кофтой не увлекаюсь, а вы спортом увлекаетесь; а со своей конюшней еще больше будете увлекаться.

— Нет, я, знаете, предпочел бы ничем не увлекаться — ни медициной, ни спортом, а на все смотреть спокойными очами! Только тогда и возможно испытывать истинное наслаждение.

— Ну, вы что-то уже много говорите об истинном наслаждении, Антон Михайлович! — с волнением заметила Строева.

— Господа, ну вас с вашей философией! — воскликнул Тетюшин. — Вот уже видны веселые огоньки; это гавань, в которой мы найдем себе пристанище и убежище от житейских бурь и туманов. Ведь это Крестовский! Надежда Ивановна, мы с вами покатаемся с гор?

— Под тобой всякая гора провалится! — промолвил Барвинский.

— Нет, пустое! это выдумали мои враги! Я хочу покататься с Надеждой Ивановной.

— Я никогда не каталась с гор, — ответила Надежда Ивановна. — У меня сердце не в порядке.

— У вас-то? Но этого не видно. Мне кажется, что оно у вас слишком в порядке — как у рыбы. Помилуйте, я ухаживаю за вами ровно три месяца — и никакого сочувствия! Стой!

Сани остановились у освещенных ворот Крестовского сада. Приезжие стали выходить.

Надежда Ивановна взяла Строеву под руку и тихонько спросила ее:

— Тебе весело, Анна?

— Боюсь, что будет слишком весело! — так же тихо ответила ей Строева.

— Ты знаешь, я страшно боюсь этого! Я жалею, что согласилась ехать.

— А я не жалею. Я не люблю заблуждаться и правду предпочитаю узнать всю до конца.

Они уже были в саду. Деревья были белы от снега. Их повели какими-то сложными путями, сперва через сад, потом длинным коридором и наконец ввели в обширный, но довольно жалко обставленный кабинет, где стоял странного фасона желтый рояль, весь угол был занят тусклым, вдоль и поперек исцарапанным зеркалом, висели сомнительные гравюры.

— Ну, вот мы и дома! — воскликнул Тетюшин. — Господа, — продолжал он, — уж вы мне доверьтесь вполне. Это — единственное место, где меня искренно уважают. Эй, Семен, сходи-ка к Петру Лаврентьевичу и скажи, что я прошу его прибыть сюда собственной персоной!

Минуты через две вошел господин почтенного возраста и столь же почтенной наружности и с выражением глубокого уважения поздоровался с Тетюшиным.

— А, Петр Лаврентьевич! Ну, вот что: хорошенько напоите и накормите нас!

— Останетесь довольны, доктор! — почтительно ответил Петр Лаврентьевич и сейчас же начал делать распоряжения.

Стали появляться один за другим лакеи, и большой четырехугольный стол мало-помалу покрывался разнообразными закусками и водками.

С каждым новым явлением Строева приходила в ужас и всплескивала руками.

— Да что вы, господа! Да зачем это? Ведь этим можно целый полк накормить! ведь этого и в месяц нельзя съесть.

— Это необязательно, Анна Сергеевна! Мы вас неволить не будем.

— Но к чему эти горы икры, сыру, ветчины, грибов? Все это можно было бы подать в меньшем виде.

— Нельзя. Тогда не получилось бы столь художественной картины. На все есть порядок, Анна Сергеевна. Сыр, так должен быть пластом; сиг обязан быть цельным и почтенным на вид; сосиски в томате, так обязательно целая кастрюля, и пар из нее должен подыматься стремительно, как лава Везувия! Иначе и аппетита такого не будет.

А блюда с закусками все прибывали, и наконец стол был весь заставлен. Затем Тетюшин начал организовывать винную часть.

— Нет, это все никуда не годится! — презрительно воскликнул он, бросив на стол карту вин. — Позови-ка сюда Петра Лаврентьевича.

И опять Петр Лаврентьевич стоял перед ним, по-прежнему с глубоко почтительным видом.

— Вот что, голубчик, Петр Лаврентьевич! помните, вы на прошлой неделе угощали меня — я тогда был в другой компании — каким-то удивительным шато-ла-розом? Это было нечто бесподобное.

— Как же-с! — двенадцать рублей бутылочка?

— Вот-вот, это самое. И что же, эти бутылочки у вас еще имеются?

— Как же-с! Для уважаемых господ всегда имеются. Его мы только избранным подаем.

— Ну вот, так сопричислите нас к лику избранных, почтеннейший Петр Лаврентьевич, и тащите его сюда.

— Будет исполнено! — ответил с глубоким поклоном метрдотель.

Строева слышала этот разговор и сильно обеспокоилась. Она уже не хотела говорить с Тетюшиным, так как не ожидала от него ничего, кроме какой-нибудь шутливой выходки. Она обратилась к Барвинскому:

— Послушайте, Антон Михайлович, это какое-то сумасшествие! Вино в двенадцать рублей бутылка! Ведь это прямо распутство!

— Дешевле нельзя достать хорошего вина! — спокойно ответил Барвинский.

— Но зачем оно? Мы можем обойтись без него. К чему такая драгоценность?

— Это невозможно, Анна Сергеевна. Нас здесь уважать перестанут.

— А вам очень нужно их уважение?

— Пока я здесь, совершенно необходимо.

— Но, однако, бутылка вина в двенадцать рублей... Вы, наверно, выпьете их полдесятка. Ведь это целых шестьдесят рублей! На эти деньги можно два месяца содержать целое семейство.

— Это не входит в наш сегодняшний план, Анна Сергеевна!

— О, ваш план мне вовсе не нравится! Я не буду пить это драгоценное вино... Если здесь все так же дорого, то я ничего не буду ни пить, ни есть. Это просто бессовестно — швырять такие деньги на какое-то животное удовольствие, когда на эти деньги можно сделать десяток полезных дел...

— Ах, милая Анна Сергеевна, — с иронической усмешкой сказал Антон Михайлович. — Вы подобны человеку, который, попав в среду голых дикарей, вздумал нарядиться в самый шикарный фрак, сшитый по последней парижской моде. Дикари не поймут всей тонкости и всего шика парижской моды и только будут смеяться над ним до упаду. Раз мы приехали в драгоценный кабак, то уж тут о добродетели поминать не приходится. Господа, давайте выпьем и закусим, а? Пора приступить к делу! — прибавил он, обращаясь ко всем. — Тетюшин уже доказал свои блестящие способности выпивочно-закусочного организатора! Я наливаю в рюмки водку, а дамам рябиновую настойку и предлагаю выпить, дабы сравнять настроение отдельных особей. Вот, Анна Сергеевна, сперва одну, а потом другую, и вы увидите, как точка зрения у вас сразу переменится. Надежда Ивановна, я чокаюсь с вами.

Надежда Ивановна протянула свою рюмку с настойкой, чокнулась и выпила. Строева замялась, как бы не решаясь, но потом решилась последовать общему примеру.

— Эх, господа! — с какой-то необыкновенной энергией воскликнул Барвинский. — Я сегодня ощущаю такой прилив здоровья, что мне даже

страшно. Мне кажется, что здоровье переполняет мои жилы, клокочет в них, бьется бурным ключом! Мне хочется что-нибудь разбить вдребезги, разрушить дом, землю перевернуть...

— Почему вам страшно? — спросила его Надежда Ивановна.

— Почему страшно? Не знаю почему. Должно быть, потому, что я «боюсь данайцев и дары приносящих»... Вот я и здоровья своего боюсь. Выпьемте еще. Тетюшин, дамам вина! Зови цыган... Давай мне чего-нибудь острого, громкого, неизведанного...

— Постой, постой! — воскликнул Тетюшин. — Еще рано! Как же теперь позвать цыган, когда мы еще не закусили толком и не выпили...

— Эх, вот поистине «порядочный человек», — говорил Барвинский, — он требует, чтобы все делалось по принятым правилам. Когда подана закуска, так надо ее есть. Если стоят водки, то надо их наглотаться до одурения. Цыган можно слушать тогда, когда уже пьяны. Все по правилам. Но пойми ты, милый друг, что я, несмотря на то, что почти ничего не выпил, чувствую себя пьяным... Я пьян изнутри, от себя самого пьян. Понимаешь ты? Был ли ты когда от себя самого пьян? Нет, Тетюшин, не был, я знаю, что не был. И вот я в самой поре, чтобы слушать цыган.

И если верить его глазам, то можно было подумать, что он говорил правду. Что-то размашистое, широкое и в то же время неопределенное, неверное было теперь в его взгляде — остром, проницательном, странном взгляде, который трудно было выдержать.

Он продолжал:

— Ну, поедим и выпьем поскорее, чтобы все-таки поступить по правилам, чтоб можно было слушать цыган...

— Голубчик, да ведь еще котлеты марешаль принесут! — сказал Тетюшин.

— Ну вот, еще марешаль! Вот поистине педант кабацкого дела! Сделай милость, разреши марешаль есть при цыганах!

— Обратись к дамам, — серьезно сказал Тетюшин. — Если они разрешат, то я ничего не имею...

— Надежда Ивановна, Анна Сергеевна, будьте великодушны, разрешите марешаль есть при цыганах! — просительно промолвил Барвинский.

— Нам решительно все равно! — сказала Строева. — Но почему это вам так хочется слушать цыган?

— Как почему? Потому что цыгане, как ни просты они в своих затеях, а все же представляют из себя нечто, не похожее на обыденное, на то, что мозолит нам глаза каждый день, каждый час; не походят на Тетюшина, на Сторецкого, на меня и на вас...

— Я никогда не слышала цыган и не могу судить.

— Да, в них нет ничего похожего на нас... Это, может быть, нечто еще более пошлое и ничтожное, но все же оно хоть пошлостью своей выдается. Да вот именно это то, что я хочу: что-нибудь выдающееся, хоть выдающаяся пошлость, глупость, подлость, но только не это, не это...

Сторецкий поднял на него глаза и как-то необыкновенно пытливо посмотрел на него.

— Антон Михайлович, смирись! — полушутя произнес он, но в глазах у него было что-то тревожное.

Необъяснимую тревогу почувствовала и Надежда Ивановна. Сердце ее забилось неровно, то сжимаясь с болью, то стуча нетерпеливо.

Началось усиленное движение. Лакеи засуетились. Через минуту несли котлеты, откупоривали вино, наливали в бокалы.

Цыгане входили постепенно, медленно, один за другим. Сперва дамы, а затем мужчины. Все это были смуглянки с чрезвычайно серьезными, слегка даже как бы смущенными лицами. И на приветствие Тетюшина они отвечали кивком головы, но без улыбки, как люди, строго относящиеся к своим обязанностям.

Женщины расположились полукругом, а мужчины стали позади них. У некоторых были гитары и еще какие-то инструменты. Один гитарист с черной кудрявой головой с бравым видом стоял впереди несколько справа и дал тон. Хор запел.

Кончилась песня. Тетюшин скомандовал другую, потом кто-то начал плясать.

Барвинский, сидевший несколько поодаль, внимательно слушал, а затем переменил место и подсел к Надежде Ивановне.

— Нет, это не то... — сказал он. — Это совсем не то...

— Но вы же этого хотели!

— Нет, я не хотел именно этого, я хотел чего-нибудь... раскатистого... Ах, это трудно объяснить! Я хотел бы, чтобы вдруг выскочил из-под земли или из глубины моря какой-нибудь зверь — огром-

ный, мохнатый, неведомый и неслыханный зверь и рявкнул на всю вселенную, да так рявкнул, чтобы планеты остановились в своем движении. Я хотел бы, чтобы повторился всемирный потоп или страшный огонь охватил весь мир!.. Посмотрите, как у меня кровь быстро льется в жилах; подержите мой пульс.

Он протянул ей руку — она была горяча. Надежда Ивановна попробовала пульс — он бился со страшной силой.

— Вы нездоровы... У вас лихорадка. А еще хвастались здоровьем!

— Нет, никакой лихорадки нет. Это так, прилив чего-то... Не знаю чего... Это со мной иногда бывает. Вдруг ни с того ни с сего является желание разорваться на части... Но вы не бойтесь этого; это — не сумасшествие.

— Почему я должна этого бояться?

— Почему? — он не сразу ответил. — Да так, ни почему... Знаете, мне противно это пение. Нельзя ли как-нибудь прогнать их? Или нет, вот что... Будьте благодетельницей — согласитесь выйти со мной на пять минут в сад, там свежий воздух есть.

Его глаза сделались странными, неспокойными, щеки загорелись лихорадочным румянцем.

«В самом деле, — подумала Надежда Ивановна, — ему нужен свежий воздух».

— Хорошо, выйдем; только ведь мы всех взбунтуем...

— Ничего, мы тихонько... Видите, я хочу, чтобы вы пошли со мной; если я пойду один, я уже не вернусь, — а мне не хочется разрушить план этого доброго человека.

Он поднялся и, сделав остальным успокоительный жест, тихо сказал:

— Мы на две минуты уйдем. У Надежды Ивановны слегка закружилась голова...

Строева посмотрела на них с изумлением.

— Правда? — спросила она Надежду Ивановну.

— Да, немного, — ответила та.

Барвинский на цыпочках прошел к двери, тихонько отворил ее, пропустил Надежду Ивановну и сам прошел вслед за нею. В коридоре он отыскал ее шубу и свою, и они вышли в сад.

— Какая чудная ночь! — воскликнула Надежда Ивановна.

— Знаете что? Отыщем моего кучера и прокатимся по островам. Все равно, этот бал затянется у них долго! — продолжал Барвинский.

Надежда Ивановна ничего не могла возразить против этого. Вообще она чувствовала, что он как бы подчиняет ее себе, что у нее нет силы отказаться от его зова. Это чувство было смутное, мимолетное, и она не могла еще дать в нем себе отчета.

— Поедем, Антон Михайлович... Только ненадолго. Анна Сергеевна заскучает... — ответила она.

— Нет, Тетюшин развеселит ее.

— Вы думаете, что это возможно?

— А почему бы и нет?

Они вышли в это время за ворота, и Антон Михайлович крикнул кучера. Где-то вдали откликнулся теноровый голос, послышался мягкий стук лошадиных копыт, затем показались лошади и сани с высоко сидевшим на своем кучерском месте Сергеем.

— Садитесь!

Он помог ей усесться, затем и сам поместился рядом. У Надежды Ивановны вдруг явилось такое чувство, как будто она пускалась в какое-то неведомое путешествие, которое сулило ей тысячу неожиданностей и опасностей. Лошади тронули.

— Прокати, где получше дорога!

Сергей пустил лошадей быстрой рысью.

— А почему бы и нет? — сказал Барвинский, очевидно, продолжая прерванный разговор. — Ведь мы, в сущности, одного поля ягоды. Всех нас точно нивелировали при рождении, боясь, чтобы кто-нибудь из нас не вырос побольше других. Иные из нас носят высокие каблуки и становятся на цыпочки, чтобы казаться больше и себе и другим. Но каблуки быстро стираются, а от цыпочек пальцы начинают болеть, и смотришь — это был обман... Строева теперь еще на высоких каблуках ходит. Но это когда-нибудь кончится.

— О нет, вы ошибаетесь, Антон Михайлович! — с горячим убеждением возразила Надежда Ивановна. — Строева выше многих.

— Ах, это выше многих ничего не стоит. Мы с вами тоже, наверно, выше многих — очень уж ничтожных, но это невелика честь. Знаете, все это, все то, что мы видим и сами переживаем, мне кажется похожим на бездарную пьесу, разыгрываемую на сцене плохими актерами. Читаешь афишу: все короли да герцоги, все герои, с которыми у нас связано представление о грандиозных событиях, о великих характерах, и ждешь, что вот подымется занавес, и пред тобой начнет ра-

зыгрываться нечто глубокое, важное, потрясающее. И вот занавес взвился. И что же? Жалкая грошовая обстановка, косноязычный шепелявый актер, гнусящая актриса, — неуклюже ходят по сцене и говорят пошлые обыденные слова. Боги спустились на землю и начали есть суточные щи с пирогами...

— К чему же это сравнение, Антон Михайлович?

— Да вот хоть эти цыгане... Мне хотелось их слушать. Я слушал их не раз, но всегда в пьяном виде. И получал тогда от них, должно быть, неправильное впечатление. Я их преувеличивал, и потому ждал от них теперь чего-то необыкновенного. И вот они запели... Вы, может быть, нашли в них какое-нибудь откровение?

— Они поют стройно.

— А, все мы поем стройно... Ну ее к черту, эту стройность. Эта-то стройность и губит дело. Она-то и заедает, и принижает... Все так гладко, стройно, хорошо, и если явится кто-нибудь нарушить эту стройность, крикнет какую-нибудь высокую ноту, произведет диссонанс, то его сейчас же обучают хоровому пению, потом ставят в ряд, полукругом, и он начинает тянуть общую пошленькую песню.

— Что с вами сегодня, Антон Михайлович? Вы никогда так не говорили. И вы поехали, кажется, с искренним желанием веселиться, слушать цыган.

— Что со мной? Что со мной? Я не знаю, что со мной! Да, я ехал такой, а приехал другой... Но что вы за существо? Объясните мне, пожалуйста.

Меня почему-то тянет к вам, хотя не влюблен же я в вас, в самом деле! Тянет, а меж тем я вас совсем не знаю. Я знаю вас только отрицательно.

— Как отрицательно?

— Ну, как? Большинство наших женщин можно характеризовать только отрицательно. Вы не пьете водки, не курите, не играете в винт, не ездите на скачки, не приходите в восторг от ухаживаний Черницына, не увлекаетесь практикой, не гоняетесь за ней. Все — не, не, не... Но что же вы именно? В чем ваше да? Вон Строева, та все ищет идеального человека. Это, по крайней мере, специальность. Прекрасное занятие — искать идеального человека и думать, что таким образом делаешь великое дело... Ну-с, вы тоже идеального человека ищете?

— Да, ищу! — ответила Надежда Ивановна.

— Зачем он вам?

— Какой странный вопрос! Затем, что у меня есть потребность в идеальном!

— Потребность в идеальном человеке?

— Да, я живой человек, и я стремлюсь к живому...

— Вы хотите влюбиться в него? Он вам нужен для того, чтобы сказать вам: иди за мной? И вы пойдете, как слепая, в огонь и в воду? Так?

— Может быть, и так. Почему вы говорите с такой иронией?

— А сами вы не можете сдвинуться с места!.. Ну да, да, мы все так устроены. Дрянность, животность, низкие наклонности в нас необыкновенно деятельны, на дрянные поступки нас стремительно влечет, как комаров на огонь. А идеаль-

ное в нас инертно, вяло и требует, чтобы его из нас клещами вытаскивали. И почему-то мы называемся порядочными людьми! Мы так же порядочны, как волк, когда он сыт. Зверская жадность в нем молчит, и он равнодушно пропускает овцу мимо себя. А знаете ли вы, что вам скажет идеальный человек? Он скажет: мне не надо твоей любви. Не хочу я, чтобы ты из-за этой любви ко мне, идеальному человеку, шла в огонь и в воду. Ты иди так, без любви, тогда я тебе поверю! Потому что если через любовь, так ты не только в огонь и в воду пойдешь, а и в болото, и в грязь, и во всякую мерзость! А что, небось, скучно без любви подвиги совершать! Слушайте! Поедем домой.

— Как домой?

— Ну так, я завезу вас к вам, а потом поеду к себе. Мне не хочется возвращаться туда.

— Я не могу. Я должна вернуться, потому что там Строева. Она ко мне приехала, она моя гостья.

— Да... Поверни обратно! — сказал он кучеру и продолжал каким-то лихорадочным голосом: — Да, гостья. Это верно! Еще вот эти наши обыденные отношения... Они связывают нас крепкими узами по рукам и по ногам. Я не могу сделать этого, потому что у меня жена, вы — потому что у вас гостья. Тот — потому что у него такие-то уважаемые знакомые. Тот обидится, другой огорчится, третий оскорбится... Впрочем, это не относится к делу... Ах, я ненавижу родню, свойство, друзей и знакомых! Надо оторваться от всего, надо забыть, какие у них лица, у родных, друзей и зна-

комых, чтобы вовсе не узнавать их на улице. Надо развязать все узлы, все узлы до последнего... Да, это правда, что я много говорю... Я говорю, как пьяный, хотя и не пьян. Я говорю странные вещи... Но я замолчу, я замолчу скоро совсем... Я замолчу, и от меня не добьются ни слова... Я говорю потому, что не могу не говорить. Вы понимаете это? Я не могу остановиться. Во мне что-то кипит, как вода в котле. И из этого кипения рождаются пузыри... Так и мои слова... А, вот мы приехали! Вставайте.

Сани остановились. Он сошел на землю. Шуба его была распахнута, воротник опущен.

Он стоял у саней и не помогал ей сойти, хотя она, видимо, путалась в длинных полах своей шубы. Он как бы не замечал этого.

Свет от нескольких фонарей, освещавших вход в сад, падал на его лицо. Она взглянула на него. Лицо его, несмотря на мороз, было бледно, глаза, как казалось, сделались меньше или углубились в орбиты и лучились каким-то странным, неестественным светом.

— Пойдемте же, Антон Михайлович! — сказала Надежда Ивановна, видя, что он не двигается с места.

Он, точно проснувшись, перевел на нее свой взгляд, такой странный, тревожный и в то же время холодный взгляд, от которого у нее дрожь пробежала по всему телу.

— Ах да, пойдемте.

И он пошел вслед за нею. Они прошли деревянный помост, прикрытый навесом, и дошли до двери, которая вела в коридор. Оттуда слышалось

пение, крикливые возгласы, звон посуды, топанье ног. Он вдруг остановился.

— Погодите мнутку. Окажите мне услугу... Величайшую, величайшую услугу!

Она смотрела на него выжидательно и со страхом. Голос ее дрожал.

— Что я должна сделать, Антон Михайлович?

— Позвольте мне не входить сюда.

— Как же это? Вы можете войти и уйти...

— Нет, я не могу...

— Почему вы не можете, Антон Михайлович?

— Я не могу. Вот я дошел до этой двери, я дошел до того места, куда мог; а дальше, я чувствую, что не могу. У меня нет сил туда войти.

— Это странно, Антон Михайлович!

— Наверно, это странно... Но... Я не могу... Поймите... Есть какая-то сила, которая не позволяет мне войти туда, она меня отталкивает... Это еще будет хуже, если я войду туда, потому что... мне ужасно невыносим Тетюшин... и все, что забавляло меня полчаса назад... Вы этого не можете понять... Одно слово Тетюшина может довести меня до страшного раздражения! Я могу убить его за одно слово. Позвольте мне остаться.

— Хорошо... Поезжайте... Только... Только вы домой?

— Да, да, домой.

— Это правда?

— Да, да. Даю вам честное слово. Идите...

Она еще раз пристально взглянула на него и вошла в коридор. Он тотчас же пошел обратно. Она остановилась и оглянулась. Он шел чрезвы-

чайно быстро и скоро исчез на повороте. Она пошла дальше.

Всюду направо и налево были двери, она не знала, куда войти. Вдруг одна из дверей распахнулась.

— Вот так штука! Они блаженствуют там и забыли о нас! — услышала она хриплый голос Тетюшина.

— Как? Вы одна? А где же провожатый?

Надежда Ивановна не ответила ни слова. Она вошла в кабинет, скинула и швырнула шубу и, шатаясь, едва дошла до кресла и опустилась на него. Лицо ее было бледно, в глазах стояло выражение ужаса.

— Что случилось? Что случилось? Где он? — спросили ее в один голос Строева и Сторецкий.

Она не могла вымолвить ни слова.

## 8

— Я не знаю... — подавленным голосом произнесла наконец Надежда Ивановна. — Мы с ним вышли, он предложил прокатиться... Всю дорогу он говорил странные вещи, потом мы вернулись... Мы вошли в сад, подошли к двери. Он остановился и сказал: я не могу. И ни за что не хотел войти.

— У него были странные глаза?.. — спросил Сторецкий.

— Да, странные...

— Несчастный... Бедняга Барвинский! Значит, это опять... Опять это с ним... Я надеялся, что это больше не повторится...

— Что? Что вы знаете?

— Послушай, — обратился он к Тетюшину. — Прогони ты этот народ отсюда!

Хор вышел; Сторецкий с глубоко озабоченным видом ходил по комнате.

— Объясните же, Григорий Игнатьевич, — еще раз нетерпеливо попросила его Строева.

— Ах, что тут объяснять? Дайте вон Надежде Ивановне прийти в себя. Видите, какое у нее бледное лицо.

— Нет, ничего. Я уже оправилась! — сказала Надежда Ивановна.

— Куда же вы его девали? — спрашивал ее Сторецкий.

— Он поехал домой.

— Домой ли?

— Наверно. Он дал мне честное слово.

— А как же лошади-то? Как же мы вернемся? — воскликнул Тетюшин.

— Э, ну тебя; тут не в лошадях дело. Как-нибудь доставимся. Да, так домой? Видите ли, я сам никогда не видал, как это у него начинается... Но мне писал из Вильны товарищ, доктор Альбинский. Вы наверно его знаете, Анна Сергеевна. И я помню — именно так было... Внезапный поток слов, до того, что не может остановиться. Потом отвращение к веселости, к обществу, ко всему, что полчаса назад занимало его.

— Да что начинается? Говори толком! — воскликнул Тетюшин.

— Что начинается? Да ясно что: душевная болезнь, — вот что начинается! Это уже раз было с ним в Вильне. Раньше, еще в студенческие годы,

ты же сам наблюдал его и рассказывал мне. Дело ограничивалось только странным состоянием духа, повышенной впечатлительностью, угрюмостью, но в Вильне с ним случилось это, кажется, в первый или во второй раз. Я в это время был в Вильне проездом. В Гродненской губернии у меня случилась тогда экспертиза. Я заехал к Альбинскому и узнал об этом. Я видел его. Форменная paranoia hallucinate.

— А! — воскликнули все разом, поняв значение этих слов.

Сторецкий продолжал:

— Альбинский потом писал мне подробно о ходе его болезни и был уверен, что этим дело и кончится. Он стал поправляться и наконец совсем оправился. Признаюсь, что я тогда же выразил сомнение, что этим дело и кончится. Вы же знаете, какая эта форма... Ну вот, я этого боялся и был прав, к сожалению.

— Мне кажется, что вы ошибаетесь! — сказала Строева. — Если бы это было так...

— То вы знали бы об этом в Вильне? Но дело в том, что Нина Александровна потребовала глубокой тайны. И я этого требую, господа, от вас, потому что ей это должно быть крайне мучительно.

— Вы говорите невероятные вещи! — с упорством возражала Строева. — Он никогда не походил на душевнобольного.

— Да, но и никогда не был нормальным. Разве вы не видели, как он ко всему относится! Какие перемены и скачки! То ровен, то неудержимо увлекается, ни в чем не знает границ... Господа, я

предлагаю ехать домой... — мрачно закончил Сторецкий.

— Да на чем же? — спросил Тетюшин.

— О, тут всегда найдутся извозчики.

— Право, не дождаться ли лошадей...

— Но, может быть, мы и не дождемся их. Вероятнее всего, что он даже и не вспомнил о нас.

— Да, да, едемте сейчас же, — сказала Строева. — Я не могу ни одной минуты оставаться здесь. Это будет самым тяжелым местом для меня во всю жизнь. Теперь меня ни за что не уговорили бы сюда приехать. Все, что вы говорите, Григорий Игнатьевич, странно, дико, невозможно, и нельзя же успокоиться на том, что он поехал домой. Господа, вы не знаете, какой это человек, какая это удивительная личность! Я говорю, какой он был в Вильне одно время, когда я его знала...

Все стали торопливо собираться. У Тетюшина был такой вид, точно его переехали экипажем; все случившееся как-то придавило его.

— Бобочка — сумасшедший! У Бобочки душевная болезнь! Это что-то невозможное! Бобочка, веселый товарищ, собутыльник, любитель выпивки и скачек... невероятно! невероятно!

Тетюшин зашел на минуту в буфет и расплатился. Потом они все вышли в сад, и за воротами тотчас же нашлись к их услугам извозчики. Строева села с Тетюшиным, Надежда Ивановна с Сторецким. Но за Троицким мостом он пересел на другого извозчика, пообещав Надежде Ивановне приехать к ней через четверть часа. Заехав к Антону Михайловичу, он узнал от швейцара, что барин приехал домой и как сумасшедший бежал

вверх по лестнице. Швейцар был очень смущен, полагая, что доктор был пьян.

— А может быть, все это ошибка, может быть, он и не думал заболевать, — размышлял Сторецкий.

У Надежды Ивановны он застал всех в тревоге.

— Ну, господа, — сказал он, — кажется, я преувеличил! Ничего такого нет...

И он рассказал сведения, полученные от швейцара.

— Однако, лошадей послать за нами забыл! — сообразил Тетюшин.

— Ну, это не важно. Вот то, что он поехал действительно домой, это важно, это очень хороший признак. Его болезненность именно в том и выражается, что его тянет вон из дому. Я думаю, что завтра мы его увидим в больнице на своем месте, таким же, каким он бывает всегда. Ему до последней степени вредно пить, а Тетюшин, — прибавил он уже полушутя, — спаивает его.

— Ну вот, еще окажется, что я во всем виноват! — протестовал Тетюшин.

Но, приняв на веру, что Сторецкий ошибся и что все обстоит благополучно, он тотчас же опять вернул себе обычный веселый тон и прибавил:

— Но куда же мне деваться? Ведь я уверил жену, что еду на консилиум в Ораниенбаум и что меня отпустят не раньше десяти часов утра.

— Но послушай, ведь это тем лучше. Своим внезапно ранним возвращением ты сделаешь жене неожиданный сюрприз, и от этого ты станешь ей вдвойне приятнее...

— А в самом деле! Ведь это идея! Отлично! Я так и сделаю. Ведь это послужит лучшим доказа-

тельством моей верности. Только вот винищем от меня разит! как с этим быть? На консилиумах пить шампанское не принято...

— Ну, пустое! Выкури две хорошие папиросы, пожуй хорошенько бумаги, и все пройдет.

— И это идея! Еду домой! О, если бы вы видели, с какой гордо поднятой головой я войду!.. Как человек, более чем исполнивший данное слово.

Они простились с дамами и уехали оба.

Надежда Ивановна и ее гостья долго сидели молча, как бы подавленные одним горем, одной общей невидимой тяжестью.

— Ты этого не знала, Анна? — спросила наконец Надежда Ивановна. — Ты не знала того, что было в Вильне?

— Мне никто не говорил этого. Да, правда, он исчез тогда и больше не появлялся; мне говорили, что он заболел, но я никогда не думала, что это такая болезнь.

— Анна, если бы ты слышала его речи, если бы ты видела его в ту минуту, когда он отказался войти со мною к вам! У него был такой вид, точно он не может войти под страхом смертной казни. Он сказал: я могу убить Тетюшина за одно слово!

Строева подняла голову.

— Слушай, это неправда! Это не сумасшествие! Он просто осознал всю гнусность такого образа жизни, всю пошлость общества, в котором он живет, а они этого не поняли, им это кажется диким, и они готовы считать его сумасшедшим. Ты увидишь, что все это не так, не так... Ты увидишь, что я была права. Завтра ты пойдешь в больницу?

— О да, я не была сегодня.

## 9

Антон Михайлович поехал прямо домой, и у него было такое ощущение, что он должен непременно, во что бы то ни стало, торопиться. Он не глядел на часы, может быть, даже забыв в это время, что они лежат у него в жилетном кармане и что так просто вынуть их и посмотреть. Но ему казалось, что было уже около часу, а он обещал жене вернуться не позже того момента, когда пробьет час.

С той минуты как он вышел из отдельного кабинета с Надеждой Ивановной, ему начало казаться, что он должен торопиться, что если он не сдержит слова и опоздает хотя бы на четверть часа, то как будто совершит преступление. Настроение его резко переменилось. Уже появление цыган с их песнями точно полоснуло его по душе. У него явилась непреодолимая потребность выйти вон.

Но потом к этому настроению прибавилась поправка: он подсел к Надежде Ивановне, и ему показалось, что она в таком же точно настроении и что им вдвоем будет лучше. Поэтому он предложил ей выйти вместе. Еще и другое: у него была такая мысль, что если он уедет один, не сказавшись ей, то огорчит ее этим. Ему показалось, что он видит это в ее глазах, и он позвал ее.

Потом, когда они вернулись в сад и подошли к коридору, на него налетело что-то бурное, какое-то негодование против этого сада, кабинета, цыган, Тетюшина, Сторецкого, даже Строевой, всей обстановки этого вечера, и он почувствовал, что

войти туда, это значит — неизбежно произвести какой-нибудь страшный скандал. Он уехал.

Бурное настроение не покидало его всю дорогу. Ему казалось, что мало воздуху, что нечем дышать; ветер, который дул ему прямо в лицо, казался ему слишком слабым; бег лошадей — слишком медленным. Он подгонял кучера, чтобы усилить и то, и другое. Его звонок был такого рода, что Нина Александровна порывисто вскочила с места и выбежала в переднюю. Тем более она встревожилась, что было всего четверть первого. Не дождавшись прислуги, она сама отперла дверь.

Антон Михайлович не вошел, а вбежал в переднюю; она вгляделась в его лицо — оно было бледно; но ни одного тревожного вопроса она ему не предложила. Напротив, она огромным усилием воли прогнала со своего лица все признаки беспокойства и с улыбкой сказала:

— Вот хорошо, что так рано...

— Я не опоздал? — спросил он, и при этом и голос, и лицо его были слишком серьезны для такого вопроса.

— Нет, напротив... Раньше, чем обещал.

— Ну, вот я рад... Я рад, что я дома.

Он поцеловал ее руку и снял шубу. Все это было так просто и так хорошо; но Нина Александровна не переставала тревожиться. Она слишком тонко изучила его характер и его лицо. Когда он начинал придавать значение таким пустякам, она видела в этом дурное предзнаменование.

Поместив шубу на вешалке, он опять взял ее за руку и повел в столовую; здесь стоял еще теплый самовар. Он выразил удовольствие.

— Ты хочешь чаю? — спросила его Нина Александровна.

— Да, у меня жажда...

Идя к самовару, она как бы мимоходом обняла одной рукой его шею и ясно почувствовала, что у него легкий жар. Тревога ее усилилась, и теперь уже скрывать ее было для нее мучительным трудом.

— Я налью тебе, а потом... Потом ты пойдешь спать, не правда ли? Ты так редко ложишься вовремя.

— Я пойду спать! — покорно сказал он. — Я сделаю все, чего ты захочешь.

Увы! и это был дурной признак — эта покорность, которая, казалось бы, должна доставить ей удовольствие! Но она знала, когда являлась эта покорность. Или он очень был виноват перед нею, или, еще хуже, в нем произошла та глубокая перемена настроения и направления ума, которой она больше всего на свете страшилась.

Она еще не знала, что это. Только вот этот легкий жар как будто говорил о втором. И руки ее дрожали, когда наливали чай, а брови как-то непроизвольно подпрыгивали.

Он уселся за столом против нее и все тер лоб ладонью.

— У тебя болит голова, Антон?

— Нет, но какое-то ощущение пустоты.

Он заметил, как она вскинула на него глаза, и поспешно добавил:

— Нет, нет, это не то... Ты не бойся, малютка. Это просто они меня возмутили...

— Кто?

— Там был Тетюшин — этого довольно.

— Да, этого довольно.

— Я когда-нибудь страшно оскорблю его...

— Отчего ты никогда не выяснишь это недоразумение, Антон? Ведь он глубоко убежден, что ты вполне разделяешь его вкусы.

— Ах, мне как-то лень это делать... Притом же он добрый... Там был еще Сторецкий, потом Надежда Ивановна и ее подруга, Строева, из Вильны... Мне симпатична Надежда Ивановна. Она очень проста. Она не говорит звонких фраз, как Строева... но я просто бежал оттуда. Там эти цыгане... Вся эта пошлость...

— Вот чай! — сказала Нина Александровна, заметив, что рассказ волнует его. Она прибавила: — Ты кончил свою работу в больнице?

— Да, да, очень удачно.

— Ты скоро приступишь к окончательной обработке диссертации?

— Да, да, очень скоро. Мне еще надо сделать несколько важных наблюдений. Есть пробелы.

Он отвечал ясно и без заметной рассеянности, и всякий другой нашел бы, что он спокойнее и нормальнее, чем когда бы то ни было. Но не находила этого Нина Александровна. В его речах, в тоне, в глазах она видела и слышала такие тонкие оттенки, которые были понятны только ей, и тревога возрастала в ней с каждой минутой.

Ей хотелось поскорее уложить его спать. Она знала, что это не представит затруднений. Он теперь беспрекословно послушается ее — у него был такой вид. Но какова будет ночь? О, она слишком хорошо помнит одну ночь, когда в другом

городе и при других условиях она испытала с ним страшные муки.

Он выпил чай и откинулся на спинку стула, все продолжая держать ладонь на лбу. Он прищуривал глаза, как будто стараясь разглядеть что-то в тумане, и каждый такой взгляд точно вонзал какое-то острое оружие в ее сердце.

— Так ты пойдешь спать, Антон? — спросила она, стараясь придать своему голосу как можно больше простоты.

Он как бы очнулся и поднял голову.

— Да, да, я пойду спать. Спокойной ночи, малютка!

Он поднялся, подошел к ней и поцеловал ее в щеку; затем он направился к двери, но на пороге обернулся.

— Ты не можешь себе представить, как я рад, что с тобой! — промолвил он. — Знаешь, мне кажется, что ты моя охрана, что без тебя я погиб бы! И никогда этого мне так не казалось, как сегодня!..

Она быстро приблизилась к нему. Он обнял ее за талию и привлек к себе.

— Ты — мой единственный! Только из-за тебя я живу на свете! — дрожащим, полным слез голосом промолвила она.

— Ах, бедная малютка, из-за каких пустяков ты живешь на свете! — с слабой улыбкой ответил он. — А я еще так обижаю тебя. Я презираю себя за это!

— Нет, нет, ты никогда не обижаешь меня! Тебе не за что презирать себя! Пойдем, я тебя уложу.

— Но я здоров, малютка, я совершенно здоров! Я отлично сам улягусь. Правда? Ну ты приди ко

мне посидеть. Хорошо? Я устал, я очень устал сегодня.

Они таким образом, обнявшись, дошли до его спальни. Здесь Нина Александровна отпустила его. Минут через десять она опять подошла к двери.

— Ты уже в постели? — спросила она.

— Ах да, я совсем забыл...

Она приотворила дверь; он сидел на подоконнике и глядел в окно. На улице было темно, и ничего он там не мог видеть.

— Ложись же, Антон, а то ведь ты не выспишься! — промолвила она дрогнувшим голосом.

— Да, да, я сейчас лягу.

И он начал порывисто раздеваться. Она притворила дверь, но осталась тут же, выжидая. Она слышала, как он лег в постель, и опять отворила дверь и вошла.

Она села на диван, он взял ее за руку.

— Расскажи что-нибудь хорошее, малютка!

— Я прочитала сегодня новый роман Зола.

— Расскажи!

И она, как ребенку, начала рассказывать ему содержание нового романа, держа в своей руке его руку. Он сперва внимательно слушал, и на лице его выражались перемены настроений в связи с содержанием рассказа. Потом глаза его закрылись. Она стала говорить тихо, затем совсем замолкла. Минут пять сидела она около него, не двигаясь и стараясь даже дышать потише; потом осторожно освободила его руку и положила ее поудобнее, тихонько встала, загасила лампу на столе и вышла.

У нее отлегло от сердца. Она начала думать, что ее тревога напрасна. Он заснул, и так скоро, так легко! Значит, у него нет тех явлений, которые обыкновенно мешали ему спать. И она тоже пошла к себе и, значительно успокоившись, скоро уснула, утомленная тревогой этого вечера — страшной тревогой, которую никто не мог бы понять, кроме ее самой.

Утром она встала в восемь часов. Обыкновенно он подымался в половине девятого, и тогда в столовой уже все было готово. В этот час она подошла к двери его спальни и приотворила ее.

Прежде всего она в полумраке комнаты, с опущенной гардиной на окне, увидела его. Он лежал на диване, натянув одеяло до подбородка, и крепко спал. Потом она перевела взгляд на стол и невольно вздрогнула. На столе горела лампа, фитиль давал ничтожное пламя; очевидно, в ней выгорел весь керосин.

Но кто зажег ее? Зачем? Ну да, конечно, это он сам зажег ее. Значит, ночью сон его был нарушен каким-то видением. В такие периоды он не мог выносить темноты. Он просыпался, боролся и засветил лампу.

Опять тревога, еще более страшная тревога, охватила ее. И как крепко он спит теперь! Он заснул, когда почувствовал, что восходит солнце. Он это чувствовал и в пасмурные дни, и во время густых туманов. Только в этот час он мог заснуть. И потому сон его так крепок. Обыкновенно в эти часы он уже лежал с открытыми глазами и, узнав, что самовар в столовой на столе, торопливо вставал. Он говорил: «Самовар — это мой будильник. Ког-

да я узнаю, что он шипит и кипятится в столовой на столе, уже я должен вставать».

Теперь она вошла в комнату, загасила лампу и вернулась к двери, а он ничего не слышал и продолжал крепко спать.

Она притворила дверь и отошла. Шаги ее были нетверды, ноги дрожали. Она пришла в свою спальню, опустилась на кровать и поникла головой.

Когда она была одна, она доставляла себе это наслаждение — поникнуть головой и предаваться отчаянию, не изображая на лице довольство и радость.

«О Боже мой! Опять, опять! Это счастье и несчастье! То, за что обожаю и чего страшусь, как гибели! Господи, какие мы с тобой несчастные, мой Антон!»

Послышался звонок. Она вышла в гостиную. Было десять часов; она ждала.

Вошел Сторецкий, и, когда глаза их встретились, они оба прочитали друг у друга в лице тревогу.

— Почему вы приехали? — спросила она, протягивая ему руку.

— Он здоров? — промолвил он вместо ответа.

— Садитесь... Я не знаю... Почему вы беспокоитесь?

Он взял ее за руку, осторожно повел к дивану и усадил ее, а сам сел в кресло.

— Слушайте, Нина Александровна, я вам скажу прямо: болезнь Антона Михайловича для меня не тайна. Вам должно быть от этого легче... да, легче... Есть хоть один человек, перед которым вы не должны играть роль счастливой.

— Но разве вчера были какие-нибудь основания?

— Нет, определенного ничего. Только слишком большой наплыв энергии и резкие перемены настроений, даже чувств... Я ничего не утверждаю. Напротив, пришел спросить у вас, в надежде получить успокоительный ответ. Он спал хорошо?

— Не думаю. Я ушла от него, когда он заснул, и загасила лампу, а утром... Он и теперь спит крепким сном, уже это необычайно... а главное, лампа была зажжена... Он сам зажег ее.

— Может быть, случайно? Может быть, он выходил ночью, а потом забыл загасить?

— Может быть. Ах, если бы это было так! Постойте, он, кажется, проснулся.

Она встала и прошла к его спальне.

— Это ты, малютка? Я проспал?

И ей послышалось, что голос его был бодр. Она вошла. Лицо у него было заспанное, он потягивался и вместе с тем улыбался ей.

— Ты такая бледная... Отчего? Я вчера напугал тебя, а? Нет, нет, не бойся...

Он взял ее руку и привлек к себе.

— Я сам думал... Да, у меня были скверные мысли... Но потом... потом это прошло...

— Ты ночью вставал? — несмело спросила она его.

Он засмеялся.

— Да, это потешно! Мне приснилась одна мысль. Можешь себе представить, я искал ее, когда обдумывал мою диссертацию, и никак не мог найти, и вот во сне ясно, как день, я ощутил ее.

Это так поразило меня, что я проснулся и записал; потом опять заснул. Я очень крепко спал, не правда ли? Теперь поздно?

— Начало одиннадцатого.

— Ну, это еще ничего. Подыми штору и взгляни, что я там записал. Может быть, это мне снилось!

Она поспешно исполнила его просьбу. В самом деле, на столе, на большом листе бумаги, было написано две строчки. Она прочитала их. Они имели прямое отношение к его диссертации. Она не знала, что подумать. Причислить ли это к дурным признакам или наоборот?

— К нам кто-то пришел? — спросил Антон Михайлович.

— Это Сторецкий.

— Да, я слышал звонок. Зачем он так рано?

— Он... Он просто беспокоился, хорошо ли ты вчера доехал.

— Ах да, я ведь их покинул вчера! И еще что?

— И больше ничего.

— Это очень любезно! Ну, я сейчас встану и буду с Сторецким чай пить. Ты его не отпускай.

«Нет, нет, он сегодня хорош. Если он хочет видеть Сторецкого, значит, того нет, все прошло, или ничего и не было. Может быть, это был ложный припадок? Это изредка с ним бывало...»

Так думала Нина Александровна. Она предоставила ему одеваться, а сама пошла к Сторецкому.

— Ну, что? — нетерпеливо спросил тот.

— Он совсем здоров. Он вас хочет видеть! — почти радостно говорила Нина Александровна.

Сторецкий никогда не слышал от нее такого тона. Может быть, это и в самом деле произошло оттого, что он знал о болезни Барвинского и Нине Александровне не для чего было хоть это скрывать перед ним.

— Пойдемте в столовую, — сказала она, — и он придет туда.

— А почему он зажег лампу? — спросил на ходу Сторецкий.

— Ему приснилась мысль, и он записал ее. Только всего.

— А, приснилась мысль, — каким-то странным тоном отозвался Сторецкий.

— Это ничего?

— Нет, ничего...

А в это время Сторецкий подумал: «Бедная женщина! я не хочу тебя вторично повергать в ужас! Приснилась мысль! приснилась мысль! Мысли не снятся, снятся только образы. А эта приснившаяся мысль была именно то, что для тебя страшнее всего. Но может быть, в самом деле это был лишь мимолетный припадок? Теперь надо не упускать его из виду, по крайней мере, неделю».

А Нина Александровна была приятно оживлена. Она делала распоряжения о том, чтобы подогрели самовар, чтобы принесли свежие булки, и благодарила Сторецкого за то, что он так заботлив.

— Ну, вот и я! Что? Вчера вы проклинали меня на всех вселенских соборах? а? — воскликнул Барвинский, появляясь в столовой. — Я не буду удивлен, если узнаю, что Тетюшин, с досады и

мести, бросил медицину и поступил в цыганский хор петь тенором...

«Он весел, он шутит, значит, все прошло! То была напрасная тревога!» — с радостным замиранием сердца думала Нина Александровна.

Но Сторецкий этого не подумал, а пытливо смотрел в глаза Антона Михайловича и видел в этих глазах нечто другое...

## 10

Когда Барвинский вместе со Сторецким приехали в больницу, было около одиннадцати часов утра. Они вошли в сборную, и их удивила пустота в этой комнате. Воздух был чист, никто не выкурил здесь папиросы. Только у окна стояла стройная фигура в черном платье. Она обернулась.

— Ах, Надежда Ивановна! — воскликнул Сторецкий. — Вы уже здесь?

— Да, я сегодня пришла первая! — ответила Надежда Ивановна, пристально глядя не на Сторецкого, которому пожимала руку, а на Антона Михайловича, который в первую минуту, как ей казалось, не обратил на нее внимания. — Вы сегодня не здороваетесь? — прибавила она, обратившись к нему.

— Нет... Здравствуйте! — промолвил он рассеянно и протянул ей руку.

Но ей показалось, что это приветствие было произнесено сухим, даже недовольным голосом. Он сейчас же отвернулся, подошел к столу и стал просматривать газеты.

— Ну, милые, вы здесь поворкуйте, а я должен повидаться с нашим экономом! — сказал Сторецкий и затем, указывая на боковой карман, прибавил: — У меня в этом месте случилась легкая катастрофа. Требуется измыслить финансовую комбинацию, а наш эконом на это большой мастер.

Он вышел. Надежда Ивановна стояла у окна, а Барвинский, казалось, еще ниже наклонился над газетой. Так прошло минуты две.

— Вы, кажется, на меня сердитесь, Антон Михайлович? — сказала она.

Он вздрогнул и поднял голову.

— Как? Вы... Вы что-то сказали? Простите! Мы уже здоровались?

Она вскинула на него удивленные глаза.

— Это шутка?

— Да, виноват... Мы действительно здоровались... Простите... У меня это вышло из головы.

Он смотрел на нее и молчал; а ей становилось жутко от его пристального взгляда.

— Да, — наконец промолвила она, — я даже спросила вас: разве вы не хотите здороваться?

— Да, и это было! — сказал он удивительно спокойным и серьезным тоном.

— Значит, я такая ничтожная величина, что вы здороваетесь со мной механически?

Он как-то криво усмехнулся.

— Если хотите знать, к ничтожным величинам я стараюсь быть очень внимательным; я напрягаю все силы, чтобы не забыть чего-нибудь, до них касающегося, потому что эти почетные ничтожные величины очень обидчивы. Да, я напрягаю

все силы. До того, что у меня мозг болит... Но я думал... Впрочем, без всякого права... Я думал, что для вас этого не нужно...

Выражение какой-то муки блеснуло у него в глазах. Надежда Ивановна подошла к нему.

— Я, значит, не поняла вас, Антон Михайлович! Пожалуйста, пожалуйста, будьте со мной так, как вам хочется. Я даже не хотела этого сказать, а сказала просто чтобы не молчать.

— Да, странно это... Вы можете пользоваться печальным преимуществом знать, что я сумасшедший.

— Полноте, что вы?

— А вы думаете нет? Да, да, уже, уже... Этого только никто не видит, но это уже есть... Я не хочу скрывать от вас... Я не знаю почему, но в вас есть что-то мне близкое, а это ведь очень мучительно — скрывать, что ты сумасшедший. Ну, смотрите же, не говорите никому; пусть сами догадаются.

— Антон Михайлович, ведь это неправда!

— Правда, голубушка, правда! — со вздохом сказал он. — Вот сейчас, когда я смотрел на вас, мне казалось, что из-под вашего башмака выползла змейка и показала жало, но я знал, что она меня не ужалит... Вы понимаете, я знал, что это не настоящая змейка, а что это мне кажется... Вот тут и разберитесь. А впрочем — ничего, ведь это предмет моей диссертации... Ценное наблюдение, очень ценное... Я его буду цитировать... Уходите от меня подальше, Надежда Ивановна, потому что я сумасшедший.

— Я не уйду от вас... Я не хочу уходить от вас...

— У вас тоже экзальтация... Эх, не нужно, право, не нужно... Вы, может быть, влюблены в меня? Не стóит.

— Не влюблена я в вас, нет...

— А что же?

— Что-то тянет меня к вам.

— Ха-ха!.. Да ведь вы здоровы... Гусь свинье не товарищ... А, ну, бросимте это... Я тоже, может быть, влюбился бы в вас, или, как вы говорите, меня бы потянуло к вам. Да ведь сумасшедшим вредно любить, сами знаете. Не бойтесь, во все глаза следите, чтобы какая-нибудь обитательница из женского отделения как-нибудь не перекочевала в мужское... Знаете что? Сойдите немножко с ума.

— Я хотела бы...

— Да? Почему?

— Потому что это так мучительно — быть здравой и видеть эту страшную пустоту жизни, и сознавать свое бессилие...

— И подумаешь, что это говорится сумасшедшему человеку.

Он встал и прошелся по комнате, потом усмехнулся и сказал:

— А они успокоились...

— Кто?

— Вчера я встревожил мою бедную малютку...

— Вашу жену? Она вас беззаветно любит... Правда?

— О да. Это почти то слово, которое нужно. Беззаветно! да... Когда я умру, то и она непременно умрет...

— Боже!

— Да, это верно. Представьте себе птицу, маленькую птицу в клетке, которую много-много лет кормили канареечным семенем... Ее желудок превратился в печку, которая может варить только канареечное семя, и вдруг его не хватило и нигде не могли достать, и ее стали кормить горохом; она непременно умрет. Это глупая аллегория... Кажется, идут сюда... Если бы вы знали, как мне хочется сегодня дураков назвать дураками... А вот, кстати, Черницын пришел...

Вошел Черницын и с ним два молодых врача. Черницын поздоровался с Надеждой Ивановной, потом с Барвинским, который продолжал ходить, и подал ему руку на ходу.

— Стыдно, господа, кутить втихомолку! — сказал Черницын. — Я узнал об этом от лихача, который вез меня сюда. Он вчера привез вас с Крестовского. Нехорошо обходить товарищей...

— Вы клеплете на товарищей. Ведь лихачи вас не обошли! — с раздражением сказал Барвинский.

Молодые врачи засмеялись, а Черницын пожал плечами.

— Надо долго копаться в этой остроте, чтобы постигнуть, в чем соль! — пренебрежительно сказал он.

— Кроме того, надо иметь вкус, чтобы почувствовать соль! — промолвил Барвинский.

Черницын на это не ответил и, как бы игнорируя Антона Михайловича, обратился к Надежде Ивановне:

— А вы кутите, Надежда Ивановна.

Надежда Ивановна, должно быть, под неотразимым влиянием настроения Барвинского, почувствовала себя враждебно к красивому доктору.

— Да, кучу́!.. И давно уже, представьте.

— Значит, побоку свойственную вам серьезность.

— Почему же? Я кучу́ со свойственной мне серьезностью.

— Вы, кажется, оба расстроены чем-то, — сказал Черницын саркастически, заметив, что намерения Надежды Ивановны по отношению к нему не отличаются дружелюбием. — Может быть, мы, господа, не вовремя вошли; нам лучше бы опоздать...

— Да, лет на двадцать! — заметил Барвинский, кажется, собравшийся сказать что-то очень злое, но в это время вошли Сторецкий и Семен Иванович, а вслед за ними явилась Кулькова.

С этой минуты Барвинский сделался молчалив. Он молча со всеми поздоровался, затем сел за стол, уткнулся в газету и не подымал головы. Сторецкий, обращаясь к Антону Михайловичу, заметил:

— А Тетюшин нынче опоздал! Должно быть, жена от радости по случаю неожиданно раннего возвращения не выпускает его из дому.

Барвинский поднял голову, остановил на нем неподвижный взгляд и, не дрогнув ни одним мускулом лица, опустил голову и продолжал читать.

— Ну, господа, пойдемте! — сказал Семен Иванович.

Все поднялись и направились к выходу. Уже все вышли, и Надежда Ивановна, видя, что Бар-

винский сидит не двигаясь, нарочно замешкалась. Они остались вдвоем. Она подошла к нему и сказала:

— Вы разве в обходе не участвуете?

Он отложил газету.

— Пойдемте.

Он встал; они вышли в коридор и пошли рядом. Другие были шагах в двадцати от них.

— Вы пойдете с ними? — спросил ее Барвинский.

— Да, конечно... Ведь это обход. А вы разве нет?

— Нет... Я пройду в женское отделение. Хотите со мной?

— Мы все будем в женском отделении, как всегда.

— Я не хочу, как всегда. Там есть одна больная, которую я изучаю...

— Для вашей диссертации?

— Да, но я ее не кончу.

— Не кончите? Почему?

— Так, не кончу... Я знаю... Но я сегодня могу еще кое-что записать... А вы... вы можете кончить ее. Потом...

— Когда потом?

— Потом... Гораздо позже... Когда меня не будет.

— Почему вас не будет, Антон Михайлович? Зачем вы так говорите?

— Я вам говорю, что меня не будет. Уж я это знаю... Знаете, бывают люди, которые так дорожат своей внешней честью, что когда у них по приговору суда отнимают какой-нибудь титул или чин, то они этого не выносят и кончают с жизнью...

— Но у вас нет титула и чина, кажется, нет...

— Я не об этом... Но я дорожу своим умом... Той степенью его, той умеренной силой, какой он обладает... А это для него не проходит даром... Он понижается... Ну, а я этого тоже не могу вынести... Нельзя существовать менее совершенным, когда раньше был более совершенен... Так вы куда? С ними? Лучше идите с ними... Вы будете мне мешать.

— Да, я пойду с ними...

— Да, идите, потому что мы с этой больной друг друга понимаем. А вы нет... Преимущество быть сумасшедшим...

Надежда Ивановна дала пройти ему и долгим взглядом посмотрела ему вслед. Он двинулся дальше по длинному коридору, а она поднялась направо по лестнице, куда пошли все.

Она догнала других и пошла с ними в мужское отделение, очень плохо следя за тем, что происходило, и почти не слыша того, что говорил Семен Иванович. Потом рядом сложных переходов они поднялись на этаж выше и вошли в женское отделение.

В дальнем конце у окна стояла больная, молодая женщина, страдавшая галлюцинациями. На подоконнике сидел Барвинский и, низко наклонившись, быстро записывал что-то в памятной книжке.

Услышав шаги пришедших товарищей, он захлопнул книжку и поднялся, но не пошел к ним, а остался у окна.

Семен Иванович приблизился к нему и сказал:

— Ну что? Ваша дама по-прежнему интересна?

— О да, сегодня для меня в особенности... Она сообщила мне замечательные вещи...

— Да? Ну, вы нам расскажете. А теперь мы спешим. В седьмой палате есть новая, очень интересная больная. Пойдемте с нами! — сказал Семен Иванович, и обход двинулся дальше.

Надежда Ивановна отстала и, поняв, что Барвинский не собирается следовать за ними, спросила его:

— Вы остаетесь здесь?

— Нет, я сейчас уеду.

— Подвезите меня...

— Хорошо... Только пойдемте вниз...

— Пойдемте...

— Я вам расскажу очень много интересного... Вы можете уже смотреть на меня, как на пациента. Но пока я еще свой собственный пациент.

— О, Антон Михайлович, вы преувеличиваете.

— Нет, — говорил он, когда они спускались вниз, — у меня есть примета.

— Какая?

— Удивительная. Помните, я говорил вам о той логике жизни, по которой дерево растет вверх и никогда ни при каких условиях не может сделать компромисса и расти вбок. Вот я чувствую, как с меня спадает эта дряблость, мешающая нам быть такими же логичными, как дерево. Если бы вы могли это понять... Нет... На минуту в сборную... Я там оставил шапку... Да, если бы вы могли это понять... Но этого понять нельзя... Для этого надо быть немножко больным... Да, хоть немножко. А вы не можете, нет, не можете... Какая жалость!.. Пойдемте в сборную! Вы ничего не замечаете в моем голосе?

— Есть что-то...

— Радость, торжество... Я радуюсь этому. Я чувствую себя таким нравственно сильным... Ах, какая нелепость, что для этого надо быть непременно больным... Знаете, я думаю, что прежние люди, может быть, когда они были еще дикими, были вот такими... Когда надо было защищать свою или чужую жизнь от нападения тигра, они прямо бросались на него, вступали в единоборство. Это было невыгодно, но это было честно. В этом было что-то благородное. А началось это отступление с изобретением лука... Тогда они начали хитрить, обходить противника, убивать из-за угла... Первое проявление цивилизации было первой ложью, первым вероломством... Потом это вошло в плоть и кровь, и теперь, чтобы добиться этого, надо сойти с ума... Вот это, например... Вчера еще, если бы я почувствовал, что мне противно их общество, я все-таки пошел бы с ними, и улыбался им, и внимательно выслушивал бы их ординарно ученые изречения, а потом как-нибудь улизнул бы, выдумав какой-нибудь предлог, а сегодня уж я этого не могу. Мое убеждение прямо переходит в действие.

Они вошли в сборную. Здесь еще носились облака табачного дыма. Барвинский отыскал свою шапку.

— Поедемте? — сказал он.

— Поедемте.

— Постойте... Вот вам еще одно доказательство моего сумасшествия. Вы мне ужасно, ужасно симпатичны. Вы мне близки...

— Я этому рада... Я страшно рада этому...

— Да... И вот мне хочется пожать вашу руку и поцеловать ваш славный лоб.

Он взял ее руку, приблизился к ней и поцеловал ее лоб.

— Вы можете допустить, что я вчера сделал бы это? Нет... Тут понадобился бы целый ряд ненужных действий. Пошли бы ухаживанья, объяснения, пожалуй, букеты... А мне ни к чему ухаживать за вами. Я чувствую, что вы мне близки, и говорю: вы мне близки. И поступаю с вами, как с близкой. Потому что я тоже чувствую, что и у вас это есть и я вам тоже близок. Едемте.

Он повернулся к двери, и она пошла за ним как очарованная, не имея сил сопротивляться его внушению. Страх за его здоровье боролся в ней с каким-то восторженным чувством, которому она не могла дать объяснения. Он казался ей другим, не тем, каким она его знала раньше — слабым, ничтожным, похожим на всех, — а большим и сильным. И этот образ большого и сильного человека совершенно закрывал в ее глазах бедного, жалкого, больного, каким он был в действительности в эту минуту. Но ведь это же была мучительная задача ее жизни — найти, встретить что-нибудь сильное, выступающее из серой однообразной деятельности.

— Сергей! — крикнул Барвинский кучеру, когда они вышли из подъезда.

Кучер подкатил. На дворе стоял мороз. Над спинами горячих лошадей подымался пар.

— Поезжай как-нибудь объездом, прокати нас. Вы согласны?

— Да.

Сергей погнал лошадей.

— Вы говорите со мной, — молвил Барвинский. — Когда я молчу, когда мое внимание ничем внешним не отвлечено, я погружаюсь в другие миры... Я могу уйти от вас очень далеко, так что вам не угнаться за мной...

— Но если это так, Антон Михайлович... Если вы действительно больны, то надо лечиться...

— Это потом, потом... Потом они станут лечить меня. А теперь я еще принадлежу себе... Ведь я доктор, Надежда Ивановна. Я все могу отлично предсказать наперед... Ах, моя бедная малютка! Она уже страдает. Эта женщина — само страдание, и я виноват в этом... Вы знаете?

Они проехали пустую улицу и затем повернули в густонаселенную местность, застроенную небольшими деревянными домиками. Минув несколько переулков, они въехали в узкую длинную улицу, и вдруг перед ними открылась неожиданная картина...

Первое, что бросилось им в глаза, это изрядная толпа серого народа, скучившаяся около одного дома. Потом они разглядели, что дома собственно уже не было, а на его месте торчали черные, обгорелые доски. Из глубины обгорелых досок лениво подымались клубы негустого дыма.

— Это, кажется, пожар! — сказала Надежда Ивановна.

— Да, кажется...

Они подъехали ближе. В толпе слышался плач. Барвинский встал; Надежда Ивановна тоже.

Во дворе возились еще пожарные, которых они сразу не заметили. Пожар, по-видимому, пришел

уже к концу. Толпа окружила плачущую женщину, которая держала за руки двоих детей. Третий, самый маленький, жался к ней и кутался в ее юбки. Дети и женщина были одеты легко и дрожали от холода.

— В чем тут дело? — спросил Барвинский.

Кто-то объяснил:

— Это мастеровой тут жил... Домишко снимал, восемьдесят целковых в год платил. Сам-то он на фабрике работал. Да случился пожар, и все погорело. Вот они и остались ни при чем.

— Застраховано? — спросил Барвинский.

— Где там! Домишко-то застрахован, да он хозяйский... А ихнее прахом все пошло. И собачка сгорела. Собачка у них была; дом стерегла...

— Им надо помочь! — сказал Барвинский, взглянув на Надежду Ивановну.

— Да, надо, — промолвила Надежда Ивановна, и почему-то вдруг припомнилось ей письмо Строевой, в котором та описывала эпизод в Вильне.

— Послушайте, — сказал Барвинский, обращаясь к околоточному надзирателю, — этот мастеровой придет, конечно, сюда с фабрики, так пожалуйста, дайте ему вот это... Постойте...

Он вынул из кармана бумажник и раскрыл его.

— Я не знаю, сколько здесь; надо сосчитать... Вот...

Он вынул из бумажника деньги и сосчитал.

— Здесь сто двенадцать рублей... Я при всех даю вам; вы должны передать мастеровому... Это ему.

— Будет исполнено! — ответил околоточный, тронутый неожиданной щедростью проезжего.

— Послушайте, женщина, садитесь-ка в сани с детьми... Садитесь, садитесь... Не бойтесь. Вас свезут в теплый дом и обогреют, а муж придет туда...

Он сам взял женщину за руки, а околоточный забежал слева, поддержал ее с другой стороны, и они усадили изумленную плачущую женщину в сани; потом посадили туда и детей.

— Они дрожат от холода! — сказал Барвинский. — Надо бы их прикрыть.

Вдруг он быстрым движением снял с себя шубу.

— Вот, возьмите это.

— Барин, голубчик, что ты вздумал? Как это можно? — воскликнула какая-то молодая баба из толпы.

— Вы простудитесь, Антон Михайлович! — промолвила Надежда Ивановна, и опять ей вспомнилось письмо Строевой.

— Нет, я не простужусь! — ответил Барвинский.

— Но это невозможно. Вы непременно простудитесь.

— Я не простужусь, потому что хочу не простудиться! — как-то особенно твердо и выразительно проговорил Барвинский. — Вы этого не понимаете? Нет, нет, вы этого не понимаете.

И при этих словах он накинул шубу на переднюю часть саней и плотно закутал женщину и детей, которые, сидя в санях, испуганно смотрели на все это.

— Сергей, вези их ко мне и скажи барыне, что я прислал!

Сергей мотнул головой в знак глубокого неодобрения, но ослушаться не смел и ударил по лошадям.

— Барин, голубчик, родной! — воскликнула молодая баба, та самая, что останавливала его и почему-то при этом плакала. Потом она сняла с себя черный шерстяной платок и прибавила: — Ты бы хоть мой платочек на плечи накинул — вот, родненький...

— Давай! Вот спасибо! Я тебе его пришлю! — сказал Барвинский и с веселой, радостной улыбкой взял у бабы платок и накинул его себе на плечи...

— Ах, да, — прибавил он, — вот мой адрес для мастерового. Пусть он придет за детьми.

Он вынул из бумажника карточку и отдал ее околоточному.

— Пойдемте, Надежда Ивановна, уж мы до первого извозчика пешком.

— Что же вы не говорите, что это безумство, Надежда Ивановна? — спросил Барвинский, когда они повернули за угол.

— Я не знаю, что сказать. Да, это, конечно, безумство... Но...

— Я не отрицаю... Это безумство. Но какое счастье, что я способен на такое безумство! Ах, если бы мир на один только миг стал безумным, то за этот миг были бы исправлены все несправедливости, какие накопились в течение многих веков в отношениях людей между собой и которые изуродовали человечество. Разве это не уродство, скажите от души... Разве это не уродство, что мы с вами катим на рысаках, развалившись в широких санях, закутавшись в меховые шубы, когда

погоревшая мещанка не знает, куда деваться с тремя детьми от холода?

— А снять с себя шубу и надеть на другого, оставшись на морозе, рискуя схватить тиф... Это, по-вашему, не уродство?

— Да... Уродство. Но я испытываю счастье. Я испытываю такое дикое счастье, какого вы никогда не испытали. Счастье не от того, что я отдал сани, и шубу, и деньги бедным людям. Это такие пустяки! И не от сознания своей добродетели, что я обогрел иззябших... Это такая мелочь... А от сознания, от ощущения великой способности быть логичным во всех своих душевных движениях... Послушайте, когда мы увидали обгорелый дом и дрожащую бабу с детьми, ведь мы одинаково почувствовали к ним жалость: и я, и вы... И мы одинаково подумали: им надо помочь, их надо выручить... Но тут началась разница... Вы взялись за карман, вы хотели вынуть кошелек и дать пять рублей, может быть, десять...

— Да, я это хотела! — дрожащим голосом сказала Надежда Ивановна.

— А я почувствовал, что это будет лицемерие. Я почувствовал необходимость, неизбежность сделать все, чтобы обогреть их, улучшить их положение, — все до конца... Если бы надо было снять сюртук, сапоги и посадить их всех трех на плечи и нести, я сделал бы это, я не остановился бы перед этим. Вы понимаете? Вот извозчик... Стой! Садитесь. Поезжай на Конюшенную.

— Нет, я хочу заехать к вам.

— Вы боитесь оставить меня одного? не бойтесь. У меня еще много времени. Я думаю, еще с

неделю... А потом я сам приду к Сторецкому и скажу: заключи меня в отдельное помещение.

— Вы слишком взволнованы, Антон Михайлович... Вы не можете правильно судить о своих поступках.

— Слишком? Нет. Для меня это как раз впору. А что я не могу судить правильно о своих поступках, это, пожалуй, верно. Но этой-то правильности я и боюсь... Она о двух концах. Поезжай, извозчик! Ну ладно, на Кирочную. Поезжай на Кирочную!

Извозчик погнал лошадей.

## 11

— Вам не холодно? — спросила Надежда Ивановна, искоса взглянув на платок, который покрывал его плечи.

— О нет. Меня согревает какой-то внутренний жар; меня даже стесняет одежда. Она давит меня...

— Ваша жена будет беспокоиться, когда узнает, что вы остались без шубы.

— Да, она, бедняжка, будет беспокоиться. Но уж ее такой удел. Все равно она не может не беспокоиться. Когда я здоров, я огорчаю ее своими гнусностями. Когда я болен, она боится за мою безопасность... Ах, вы не знаете, до какой степени это несчастный человек! Нам с нею лучше всего умереть...

— Умереть?

— Да, я говорю: нам с нею. Отдельно каждый из нас мог бы еще как-нибудь существовать, но

вместе, после того, как мы составили одно целое, нельзя. Это так и кончится.

— Так все кончается, Антон Михайлович.

— Нет, это кончится не так, как все кончается... Я вам говорю, что это в последний раз...

— Что?

Он не ответил. Он погрузился в свои мысли, и Надежда Ивановна, незаметно следившая за ним косым взглядом, наблюдала, что на лице его то появлялась улыбка, то выражение гнева, то глаза его вдруг смотрели с испугом.

«Да, он болен, это правда... Бедный человек, как жаль его! Как нестерпимо жаль его...»

Они уже давно проезжали центральные улицы. Вот они минули Невский и поехали по Надеждинской. У нее явилась нерешительность. «Это наверно будет неприятно его жене, — подумала она и вспомнила о той холодности, с которой Нина Александровна обыкновенно встречала ее. — Если она так беззаветно любит его, то должна ревниво относиться ко всякой другой близости. Не остановить ли извозчика и не сойти ли на дороге?»

И она уже почти решилась на это. Но опять что-то непонятное остановило ее. «Я не могу оставить его на минуту. У него такое лицо, что он способен броситься под конку».

Этой мыслью она заставила себя остаться в санях. А Кирочная уже близко, уже видны дома, в которые упирается Надеждинская улица. Кучер повернул. Вот и дом, в котором он живет.

Они поднялись наверх. Нина Александровна была в передней и, к удивлению Надежды Ивановны, встретила их почти с веселой улыбкой.

— Тебе не было холодно, мой друг? — спросила она Антона Михайловича, принимая от него платок и шапку.

— Нет, голубчик мой, мне никогда не бывает холодно, ты знаешь. Вот и Надежда Ивановна согревала меня своей дружбой.

Нина Александровна подошла к ней и крепко пожала ее руки:

— Я вам сердечно благодарна за это!

— А где они? — спросил Барвинский.

— Они в столовой, они уже обогрелись, теперь обедают...

— Прекрасно. Пойдемте к ним...

Горничная помогла Надежде Ивановне снять шубу. Барвинский уже, кажется, забыл о ней; он направился в столовую.

Нина Александровна опять подошла к ней.

— Как мне благодарить вас, Боже мой!

— За что, Нина Александровна?

— За то, что вы были с ним. Вы не знаете, на что он способен, когда один. Ах, я еще сегодня утром подумала, что ошиблась... И Сторецкий так успокоил меня. Войдите в гостиную...

— Слушайте, Нина Александровна, может быть, съездить за Сторецким или за Семеном Ивановичем?

— Он их не примет... Нет, это бесполезно... Ведь болезнь пришла, и уж она неминуема...

— Я пойду туда! — сказала Надежда Ивановна и направилась в ту дверь, куда вошел Антон Михайлович.

Надежда Ивановна остановилась на пороге.

Она увидела странную сцену. Женщина и дети сидели за столом с видом подавленным. Перед ними на блюде стояло кушанье, они не решались взять его без надлежащего предложения. Антон Михайлович сидел на подоконнике, заложив ногу на ногу. Спина его была согнута дугой, шея вытянута, голова наклонена, щеки подперты руками. Но смотрел он не вниз, а на ту самую дверь, в которой стояла Надежда Ивановна.

Он смотрел и, очевидно, ее не видал. В глазах его не было никакого определенного выражения. В комнате было молчание.

Но вот лицо его оживилось, он как бы кого-то преследовал взглядом, потом усмехнулся, затем встал и сделал жест, как бы отгоняя мысль.

Надежда Ивановна почувствовала необходимость сказать что-нибудь, чтобы отвлечь его.

— Антон Михайлович, перейдемте в кабинет. Я хочу сказать вам два слова.

— А? В кабинет? Хорошо. Пойдемте.

Он уже не обращал внимания на своих гостей, вышел из столовой и направился за нею в кабинет. Он говорил, когда они шли:

— Это был пехотный юнкер. Что за жалкая фигура!.. А ваша змейка на втором плане. Она не имеет никакой связи с пехотным юнкером; это очень важно. Вы понимаете, в чем тут суть?

Он сел за стол, вынул из кармана записную книжку и писал; в то же время он говорил:

— Суть именно в том, что эти явления ничем не связаны; они также не связаны с обстановкой комнаты. Стол сам по себе, реальный стол, и стулья, и буфет, они так и остаются реальными. И я

отлично понимаю разницу между реальным столом и нереальными юнкером и змейкой... Я ни на минуту не заблуждаюсь, вы понимаете? Я спрашиваю вас, как врача... Вы понимаете, что это не галлюцинация? это не настоящая галлюцинация; это нечто другое. Это-то и важно. Вот смотрите сюда.

Он отворил ящик стола, наполненный исписанной бумагой.

— Это все мои заметки; они в беспорядке. Вам придется их упорядочить... это главная мысль... У нас ведь это еще смутно... Все, что больному представляется, — все галлюцинация, все валят в одну кучу. Я разбиваю этот взгляд. Вы понимаете, что это ведь не с чужих слов, это — самонаблюдение... Тут все факты, и между ними есть замечательные... Малютка ничего не может... А вы можете — вы врач. Вы сделаете?

— Да, да, я все сделаю, что вы захотите... Но, кажется, обед подан.

Они пошли в столовую. Гости уже были переведены в кухню. Там они, в самом деле, стали есть. Завязалась беседа с кухаркой, женщина описывала пожар, плакала, не ела.

Нина Александровна явилась в столовую и тихонько сказала Надежде Ивановне:

— Говорите с ним, говорите... Его внимание нельзя оставлять незанятым...

— У меня зверский аппетит после нашей прогулки! — сказала Надежда Ивановна. — У вас тоже, должно быть, Антон Михайлович?

— Да, я хочу есть, только мне некогда...

— Разве вы куда-нибудь собираетесь?

— Да, да, собираюсь... Я давно уже собираюсь, Надежда Ивановна. Вот, малютка знает; я часто говорю об этом. Я думаю, и вы тоже постоянно собираетесь... Вообще мы всю жизнь собираемся быть справедливыми, но как-то это не удается... Есть один дом. Мы с вами проезжаем мимо него каждый день, знаете, недалеко от канала, на углу узенького переулка... Дом огромный, он весь занят страшной нищетой. Люди там мрут просто так, без всякой причины. Там живут все болезни, и оттуда они свободно расходятся по городу, а мы в это время толкуем о дезинфекции и об оздоровлении жилищ... Всякий раз, когда я еду мимо него, у меня одна и та же мысль: а ведь это бессовестно, что я еду на рысаках мимо этого дома, в котором люди болеют, страдают и мрут. Было бы справедливо этих рысаков продать и на эти деньги подкормить несколько семейств. Часто я, приехав домой и садясь за стол, думаю: а ведь это гадость, что мы с малюткой живем в шести комнатах, когда в том доме в одной комнатке по углам помещаются четыре-пять семейств. Было бы справедливо, если бы мы с нею оставили себе одну комнату, а пять предложили бы четырем семействам. Но обыкновенно, проехав мимо, я начинаю думать о другом, а после обеда я иду к себе на диван и с наслаждением засыпаю на полчаса. Право, ведь это так. И с вами это случалось не раз. И с малюткой. По тому, что делается в голове, в мозгу, люди очень схожи. Большинство думает правильно и справедливо... Но суть не в этом, а в том, насколько эта мозговая работа переходит в действие. Вот этот промежуток между мыслью и

действием и составляет различие между личностями. У огромного большинства, почти у всех, мозговая работа и действия не имеют друг к другу никакого отношения. Поступки обусловливаются не мыслями, знаниями и убеждениями, а наклонностями, вкусами, потребностями тела, здорового тела... Я вам скажу: вот коляска стоит, а тут же рядом лошадь пасется. Прекрасная коляска и прекрасная лошадь. Они могут целую вечность находиться друг около друга, и все же лошадь будет пастись, а коляска стоять на месте. А чтобы началось движение, надо лошадь впрячь в коляску и пустить их по прямому пути. Тогда они пойдут, и может быть, придут к цели. Малютка, ты откроешь мне кредит? Не скупись, дорогая малютка, а не то в долги введу тебя. Я после обеда отправлюсь...

— Куда? — спросила Надежда Ивановна.

— Туда, в тот дом. У меня теперь между моими мыслями и действиями нет промежутка. Лошадь впрягли в коляску. Ну, что же так медленно подают? У меня слишком мало времени. День-другой... А там придет Сторецкий и заключит меня. Видите ли, это необходимо. Потому что тогда я не буду уже целесообразен. Ну, значит, и бесполезно будет оставлять меня на воле. Ах, я не могу так долго ждать! У меня нет терпения! Дай мне кусок холодного мяса, и довольно.

— Вот принесли жаркое, Антон!

Нина Александровна положила ему кусок жареной курицы. Он ел поспешно и затем поднялся.

— Ты уходишь?

— Да...

Нина Александровна выразительно посмотрела на Надежду Ивановну.

— Я с вами, Антон Михайлович! — тотчас сказала Надежда Ивановна.

— Гм... Вы убежите оттуда.

— Нет, я не убегу...

— Нет, убежите. Вы ведь здоровая...

— Нет, нет, не убегу я...

— Посмотрим.

Она тоже поднялась. Нина Александровна сказала:

— Я сейчас, Антон...

И вышла. А через минуту она вернулась и, подойдя к нему, положила в боковой карман его сюртука пачку денег.

— Не поскупилась? — с улыбкой спросил он.

— Нет, тут достаточно.

— Никогда не бывает достаточно, мой друг! Нужны миллионы миллионов...

— У нас столько нет, Антон.

— Да. Это единственное извинение. Пойдемте, Надежда Ивановна.

Он вышел в переднюю. Нина Александровна подбежала к Надежде Ивановне.

— Ради Бога... Будьте с ним! Я не могу уйти из дому.

— Я буду с ним, куда бы он ни пошел.

— Я не могу уйти, потому что здесь тоже нужен кто-нибудь.

— Я непременно буду с ним... Я его не оставлю ни на минуту.

— Благодарю вас... Ведь он болен... Ему можно все простить...

Они обе поспешно вышли в переднюю.

— Ты наденешь пальто? — спросила Нина Александровна.

— Да, мне тяжело в шубе...

Он уже был в пальто, которое ему подала горничная.

— А мне придется в шубе! — сказала Надежда Ивановна.

— Все равно...

— Ты лошадей не берешь?

— Нет, к чему? Есть извозчики...

— Ну, прощай.

Нина Александровна подошла к нему и подставила щеку для поцелуя. Он поцеловал.

— Прощай, малютка!

Он вышел, Надежда Ивановна вслед за ним. Швейцар пропустил их с подозрительным взглядом. Они пошли налево. Скоро попался извозчик.

— Садитесь! — сказал Барвинский.

Надежда Ивановна села, он тоже. Антон Михайлович сказал извозчику адрес. Они поехали.

## 12

Всю дорогу, довольно длинную, Надежда Ивановна думала только о том, чтобы отвлекать его внимание каким-нибудь вопросом. Это было нетрудно, потому что он был говорлив. Стоило только затронуть какой-нибудь вопрос, как он начинал говорить без умолку. Слова точно сами нанизывались на нитку и вылетали одно за другим. Он говорил горячо, голос его дрожал, дыхание было

учащено, ему надо было часто останавливаться и переводить дух.

Самый способ выражения был у него странный. Он постоянно прибегал к сравнениям. И когда ему казалось, что они туманны, он усиленно старался объяснить их Надежде Ивановне.

Но были моменты, когда он, как бы исчерпав вопрос, вдруг замолкал, и в ту же минуту им овладевала какая-нибудь внутренняя мысль, спешившая принять видимый образ. Тогда Надежде Ивановне не сразу удавалось отвлечь его. Ей приходилось свой вопрос повторять несколько раз. Потом он как бы просыпался.

— Опять был пехотный юнкер... Уж этот юнкер будет приходить ко мне каждый день.

— Это ваш знакомый? — спросила, между прочим, Надежда Ивановна.

— Нисколько. Я никогда в жизни не видал такого юнкера. У него низко остриженные волосы и большие руки. А мы, кажется, приехали...

— Что мы здесь будем делать?

— Как что? то, что здесь мы должны делать каждый час... Вы никогда здесь не были? Я бывал в этом доме много-много лет тому назад, я был студентом. И тоже мною, как теперь, овладела решимость... Я шел мимо и зашел. Я видел этих людей. С тех пор я здесь не был, но я никогда не забывал об этом. Пойдемте во двор... Как мила эта помойная яма посреди двора... Они этим дышат... Войдемте в этот подвал... Вы думаете, там держат кислую капусту? Как бы не так! Там люди... Не угодно ли? Только подбирайте полы вашей шубы,

потому что ступени грязны, и осторожно ступайте. Здесь скользко.

Он сделал несколько шагов вниз. Там была маленькая дверь. Он отворил ее; оттуда пахнул густой пар. А дальше было совершенно темно.

Надежда Ивановна спешила за ним, но это было трудно. Какая-то полужидкая грязь, даже не замерзшая, покрывала ступеньки.

— Здесь кто-нибудь живет? — громко спросил Антон Михайлович.

Надежда Ивановна приблизилась к двери; они вошли.

Ничего нельзя было разглядеть. Но слышалась какая-то возня и говор. Кто-то зашипел, заплакал ребенок.

— Живет здесь кто-нибудь? — повторил Барвинский.

— Что вам надо? — спросил из мрака хриплый женский голос.

— Можно зажечь свечу? Есть свечка?

— Может, и есть. Да что вам надо?

— А вот погоди...

Антон Михайлович зажег спичку.

— Где же свеча?

Ему кто-то подсунул огарок, он зажег.

В подвале был земляной пол, такой же сырой и слякотный, как ступеньки со двора. Что-то огромное, вроде русской печи, сильно выдвигалось вперед. Вдоль стены тянулась длинная скамейка, на которой кто-то спал. В углу было что-то вроде нар, прикрытых соломой и тряпьем. Воздух затхлый, гнилой, удушливый, прокислый.

Перед ним стояла женщина — приземистая, коренастая, с опухшим лицом, с жидкими волосами, ничем не прикрытыми, в какой-то грязной юбчонке, в рваном платке, накинутом на плечи и перевязанном на груди крестообразно.

— Много тут народу живет? — спросил Барвинский.

— Да вам-то что? — прохрипела женщина. — Живет сколько надо...

— Гм... Сколько надо! Вовсе не надо, чтобы тут люди жили. Разве тут жить можно?

— Можно или не можно, а живем...

— Это твой муж? — спросил Барвинский, указывая на человека, спящего на скамейке.

— Муж.

— А дети есть?

— А вон они...

Надежда Ивановна подошла к нарам, там что-то копошилось. Она присмотрелась. Там было трое ребят. Один лежал прикрытый тряпьем, двое сидели, спустив голые ноги на землю. У того, что лежал, были воспаленные глаза.

— Он болен? — спросила она.

— Хворый.

— Давно?

— Да уже четвертые сутки...

— Что у него?

— Горло болит...

Надежда Ивановна посмотрела, пощупала...

— Антон Михайлович... Мне кажется... Мне кажется, это дифтерия...

— Да кто вы такие? — уже сердито спросила женщина. — Что вам надобно?

Антон Михайлович, не отвечая на этот вопрос, подошел к ребенку и посмотрел ему в глаза.

— Да, кажется... Подозрительные глаза. А муж спьяна, должно быть?

— Может, и спьяна... Вам что?

— Ты глупая баба, чего сердишься? Мы не чиновники, мы простые люди, зла не сделаем. Ты вот что: детей тут оставлять нельзя. Здоровых перевезти ко мне... Ну и сама перекочевать можешь, коли хочешь. Только надо вас переодеть и очистить. Как бы это сделать!

— Куда еще? Не пойду никуда...

— Как не пойдешь? Почему не пойдешь? У тебя будет теплая комната, кормить тебя будут.

— Не пойду...

— Глупая! Ты боишься, что я тебя обману?.. Разбуди мужа.

— Его не добудишься. Он три дня пьянствовал.

— Что можно сделать в таком положении? — воскликнул Барвинский, обращаясь к Надежде Ивановне. — И куда девать больного? Перевезти его нельзя, он заразит других.

— Его можно в больницу.

— Не отдам я его в больницу! — сказала женщина.

— Ах, глупая, да ведь он здесь умрет.

— Пускай лучше умрет...

— Ну, тебя об этом и спрашивать не будут! — решительно заявил Барвинский. — Да ведь больницы все переполнены, я знаю! Я вчера видел доктора Мурина, он по этой части, — он мне сказал: у них не принимают да и в других тоже.

— Надо попытаться... А если... если нельзя, я к себе возьму...

— Это хорошо. Ну вот что, — прибавил он, обращаясь к женщине: — У тебя, должно быть, паспорта нет? И у мужа тоже.

Женщина промолчала.

— Ну, так вот и выбирай: переезжай ко мне со здоровыми детьми, а больного вот эта дама возьмет и будет ухаживать за ним, и вылечит его. А если не хочешь, так сейчас полицию вызову.

— Зачем полицию?

— Ну, уж там видно будет, зачем... Ведь их надо насильно заставлять пользоваться благами жизни... Они к этому непривычны...

— Я не знаю... Вот муж...

— А ты мужа оставь в покое; пусть он досыпает. Он проснется и найдет к вам дорогу. А сама поезжай сейчас. Постой... Мы прежде достанем сулемы и выкупаем вас... И одежду нужно... А больного возьмем потом... Вот я схожу в аптеку. Побудьте здесь, Надежда Ивановна...

Он направился к двери, но потом вдруг остановился, прищурил глаза и сказал с усмешкой:

— Гм... А проклятый пехотный юнкеришка и сюда пришел... Вон там, около нар. Но я оставляю его вам! — прибавил он шутливо и вышел.

Надежда Ивановна осталась с глазу на глаз с женщиной.

— Ты не бойся, — сказала она. — Это добрый человек. Тебе хорошо будет... Он устроит вас и денег даст.

— Да с чего это? — чрезвычайно недоверчиво спросила женщина.

— Ну, как с чего? Ну, просто — добрый человек. Разве ты не видала добрых людей?

— Не случалось...

— Ну, это значит — такое несчастье. А вот теперь ты видишь, что есть... Твой муж чем-нибудь занимается?

— Вот этим и занимается...

Она указала взглядом на мужа.

— Пьет?

— Пьет да спит.

— Он пьяница?

— А известно, пьяница, коли пьет. Только прежде он не был пьяницей... Был человек работящий. Слесарь он по ремеслу. Да вот руку он себе повредил, пухнуть стала, и лечил он ее, да ничем не мог помочь. Больше года возился. А потом впал в тоску, потому все без работы сидел, и запил. Опускались мы, опускались... Я стиркой занималась, да не пошло... Вот и поселились здесь. А у него и рука прошла, да уж не тот человек — испортился вконец... Уж не до работы ему. Да и работы достать нельзя, никто не дает такому. Отбился. Вот и маемся. Ребята... На них-то жалко смотреть. Что с ними будет? Он-то три дня шляется, по кабакам пьет, а потом придет домой, да прямо на лавку, да спать, и спит без просыпу, как есть целые сутки. Вот мальчуган заболел, думала — Бог к себе возьмет... У нас в доме такой болезнью много детей перемерло; чуть не каждый день выносят. Схватит горло да грудь и кашлем задушит. В два дня прикончит. Поглядишь-поглядишь и подумаешь: «Вот, слава Богу, одним несчастным меньше стало». А мой мальчик

четыре дня уже болеет, не лучше ему, да и не хуже.

— Я его к себе возьму. Погоди только, осмотреть надо... Ты не бойся, я докторша; а тот господин, он — доктор... У него в доме хорошо, ты не бойся. У него и жена добрая. Дай-ка сюда свечу...

Она подошла к ребенку и отвела от нар здоровых детей.

— Можешь подняться? — спросила она больного мальчика.

Мальчик был в жару и ничего не ответил. С большим трудом удалось ей заглянуть ему в горло; она ничего не сказала, но подумала: «Трудно разглядеть... Ничего не поймешь. Кажется, дифтерит...»

— Ну да, — сказала она вслух. — Я его возьму к себе. Я надеюсь, что он будет здоров. Так ты говоришь, что в этом доме много таких больных?

— Чуть не в каждой квартире, где есть дети... Да было и со взрослыми. На прошлой неделе одного парня вынесли.

— Куда вынесли?

— Известно куда — на кладбище. Помер...

— Почему же не заявят врачу? Не сообщат полиции?

— Милая барыня... Тут почитай что половина без паспорта... Тут такой народ, что скорей согласится помереть, чем с полицией дело иметь...

— Как долго он не идет! — сказала Надежда Ивановна, взглянув на свои маленькие часы и убедившись, что Барвинский уже отсутствует более получаса. Она начала тревожиться. Ведь он,

оставшись один, мог забыть обо всем и заняться своим пехотным юнкером.

Но в это время по ту сторону двери послышались шаги и говор. Значит, Барвинский был не один.

— Тащи сюда! Только осторожней, не упади... Здесь скользко.

Потом отворилась дверь, вошел Антон Михайлович, а вслед за ним паренек, в роде приказчика, с большим узлом.

— Сюда вот, на скамью клади!

Парень положил на скамейку узел и с изумлением осмотрел обстановку.

— Больше ничего? — спросил он.

— Нет. Вот возьми себе на чай.

Парень поблагодарил и ушел. Барвинский поставил на скамью бутыль, которую держал в руках...

— Обегал все ближайшие улицы и переулки. Хорошо, что бойкое место здесь. Ну, баба, не зевай, а переодевайся сама и здоровых ребятишек переодевай. Я и тебе юбку достал; тут и сапоги ребятам; уж так, без мерки взял. Ступай-ка за печку и переоденься... Надежда Ивановна, вы можете больного сейчас отвезти к себе. У вас найдется шприц? Сейчас ему порцию сыворотки... Я достал карету. Только ее потом сию же минуту надо подвергнуть дезинфекции. Вы сами сделайте это... А иначе будет по городу развозить бактерии.

— А вы хотите остаться?

— Да. Вы не бойтесь этого; теперь я весь поглощен делом. Теперь и господин юнкер не придет. Здесь ему нечего делать.

— Я сейчас вернусь!

— Отлично. Ведь у вас Строева. Так вы ей оставьте, а сами приезжайте.

— Она говорит, что здесь весь дом заражен такой же болезнью.

— Да, я думаю, и всем остальным. Тут все найдется. Ну, тащите младенца. Пусть баба снесет его. Карета у подъезда. Или давайте — снесу...

— Нет, я сама! — возразила Надежда Ивановна.

— Позвольте мне, барыня, уж я это сделаю, — сказала баба, все более и более проникавшаяся доверием.

— Его надо закутать.

— Так не во что!

— Возьми мой платок и шубу...

— Что вы, барыня? Как можно?

— Бери, бери...

Она сняла с себя шубу и дала женщине. Та нерешительно взяла и начала укутывать больного мальчика, при этом бормоча какие-то молитвенные слова.

— Живо, живо! А потом я вами займусь! — говорил Барвинский.

Мальчика вынесли. Надежда Ивановна быстро пробежала расстояние между подвалом и каретой. Ей было холодно. Она села в карету, взяла мальчика на руки; дверь захлопнулась. Они уехали.

## 13

Кучеру было приказано ехать быстро, и она уже увидела знакомые дома на Конюшенной улице. Карета остановилась. Она отворила дверцу и осторожно вынесла мальчика.

Швейцар побежал вперед и позвонил. Отворила дверь Генриетта и с изумлением посмотрела на свою хозяйку.

— Наконец-то, — послышался из спальни голос Строевой. — Я думала, что ты забыла обо мне. Ведь я сегодня уезжаю... Что это? — воскликнула она, выйдя в переднюю.

— Осторожно! Возьми его! Уложи в постель... Генриетта, дайте белье. Ничего, все равно, дайте мое. Уложи его бережно, Ольга Сергеевна! У него, кажется, дифтерит.

Строева протянула руки, чтобы принять от Надежды Ивановны ее странную ношу, но глаза ее выражали глубочайшее изумление.

— Больной ребенок? — тихо промолвила она.

— Да... Вот...

Надежда Ивановна передала ей мальчика.

— Барыня озябли! — сказала Генриетта. — У нас печка натоплена, погрейтесь, барыня.

— Хорошо, хорошо...

Мальчик заметался на руках у Строевой и закашлял.

— Унеси его в постель.

Строева больше не спрашивала ни слова и пошла с ребенком в спальню. Через минуту явилась туда Надежда Ивановна. Генриетта тащила чистую рубаху; мальчика переодели. Строе-

ва поставила термометр, затем они молча начали выслушивать у него грудь. Опять открыли ему горло и внимательно смотрели; явились зеркала, трубочки.

— У него нет дифтерита! — сказала Строева. — Ты ошиблась.

— Кажется, это так! — согласилась Надежда Ивановна. — Но что же?

— Я думаю... Может быть, воспаление легкого.

— Осмотрим его... Будем внимательнее...

— Да, да, у него воспаление легкого, дифтерита нет... Этот налет... Это просто от жара; за ним никто не смотрел. Где ты его взяла?

— Ах, потом, потом все расскажу.

— Ты была одна?

— Нет, с ним...

— С Барвинским?

— Да... Если бы только ты знала, Ольга... Но правда то, что говорил Сторецкий.

— Он болен?

— Болен... Но теперь я поняла все, что он говорил мне тогда, помнишь — я тебе писала... Я вспомнила тебя сегодня, тысячу раз вспоминала... Ты написала все, что надо? Генриетта, сходите в аптеку, достаньте льду и мешок и вот это лекарство. Да, он действительно болен... Но зато... Как это ужасно, как это страшно! Болезнь делает его сильным, огромным... Он болен — и я видела перед собой настоящего человека... Слушай, я не знаю, смогу ли я все рассказать тебе, потому что это походит на сон... Я попробую. Мы были в больнице... после обхода спустились вниз...

Надежда Ивановна рассказывала сбивчиво, отрывисто, задыхаясь, забывая многое и часто возвращаясь к прежнему. Она старалась не пропустить ничего важного и в то же время поминутно выбегала в переднюю, нетерпеливо ожидая возвращения Генриетты.

— Где он теперь? — спросила Строева после того, как Надежда Ивановна кончила свой рассказ.

— Там, в этом доме... Я сейчас поеду туда. Его одного нельзя оставлять.

— Останься дома, Надежда Ивановна! А я поеду...

— Нет, я не останусь... Я должна, я дала слово Нине Александровне.

— Я хочу видеть его...

— Нет, я не могу, я должна там быть... Только ты уверена, что дифтерита нет?

— Да, безусловно. Взгляни сама. Впрочем, ты ничего теперь не поймешь. Ты точно даже не присутствуешь здесь; у тебя такое лицо.

Они еще раз осмотрели мальчика.

— Мы его отходим! — сказала Надежда Ивановна. — Ты мне поможешь, Ольга Сергеевна?

— Но я сегодня должна ехать.

— И ты уедешь?

— Не знаю, как и быть... Меня отпустили на срок.

— Как хочешь! — с каким-то выражением безразличия сказала Надежда Ивановна.

— Но я хотела бы его видеть...

— Как хочешь, как хочешь... Но ты до вечера будешь здесь? Когда отходит твой поезд?

— В одиннадцать часов ночи.

— Хорошо, я вернусь к тому времени... Сделай же все необходимое. Я еду... Прощай...

— Где этот дом?

— Все равно, ты не должна покидать мальчика.

— У тебя безумный вид...

— Все равно... Я поеду.

— Ах, Надежда Ивановна! В этом есть что-то страшно нездоровое... Ты словно заразилась от него...

— Может быть... И я этому рада... А! как давно я хочу заразиться таким образом, заразиться какой-нибудь силой, которая сдвинула бы меня с места, и чтобы я хоть в чем-нибудь проявила свою волю... Ну, так пожалуйста, Ольга Сергеевна, присмотри за ним... Я вернусь...

— Но послушай... Погоди... У тебя лихорадка... Дай мне твою руку. Ты в ужасном состоянии... Какой дикий пульс! Нет, нет, я тебя не пущу... Ты должна остаться...

— Нет, я не останусь.

— Нет, ты ни за что не поедешь. Я должна по крайней мере измерить температуру. В этой трущобе ты можешь захватить все, что угодно.

— Ах, какие пустяки ты говоришь...

— Ну, все равно... А я не пущу тебя, не убедившись, что у тебя нет лихорадки. Вы все какие-то сумасшедшие сделались.

— Разве не ты первая восторгалась им? — промолвила Надежда Ивановна.

— Да, но я не знала, что это болезнь.

— Болезнь... Но не все ли равно?..

— Нет, не все равно. Болезнь надо лечить, мой друг.

— Зачем? Зачем, если она возвращает человеку способность быть самим собой? Почем ты знаешь, кто из идущих по улице здоров, а кто болен? Может быть, именно те, кто еще сохранил способность откликаться на чужое страдание, те больны. Да это так и есть.

— Все равно их надо лечить.

— Да, и выжать из них всю способность быть людьми...

— Погоди... — Она поставила ей термометр. — Теперь четверть часа сиди смирно. Я с тобой не могу спорить, потому что ты сама теперь больна...

— Да, я больна и хотела бы на всю жизнь остаться больной.

— Вот в том-то и дело, что больные не остаются такими; болезнь развивается, прогрессирует и доводит их до негодности.

— До негодности!.. А здоровые мы годны на что-нибудь? Мы годны только на слова, на платоническое сострадание и сочувствие, из которых никому никакой пользы нет... Так, по крайней мере, хоть несколько дней в жизни побывать человеком. Подумай: ведь мы всю жизнь, всю сознательную жизнь только понимали, в чем добро, и никогда не двинули пальцем... Что мы делали? Учились медицине, работали в клиниках, ходили на практику, но все это в конце концов постольку, поскольку это доставляло нам пропитание. Мы никогда не забывали о себе, во всем наша личность, наше благо играли первую роль... А тут человек точно живет вне себя, всю свою

личность он отдает другим, всю, без остатка. Пусть он болен, но он полезен... Взгляни на мальчика, что с ним?

— Он спит! — сказала Строева, пройдя на минуту в другую комнату.

— Ах, я боюсь, что так долго оставила его одного там... Сюда ехала больше часа... Надо было ехать медленно... Я должна была беречь больного... Ну, и дома так долго сижу... Ах, возьми свой термометр, он только меня раздражает...

— Еще три минуты! — сказала Строева, взглянув на часы.

— Ты неумолима.

— Да. Я еще здорова, слава Богу.

— Скажи мне, Ольга Сергеевна, почему вдруг в тебе произошла такая перемена? Ты даже както злобно относишься к нему. Как это странно, если сравнить с твоими письмами...

— Ах, Надежда Ивановна, сейчас, теперь, в этом состоянии, ты меня не поймешь, так лучше не говорить... Потом, потом.

— Нет, говори, пожалуйста; к чему эти недомолвки?

— Говорить? Пожалуй. Мне неприятно смотреть на тебя, потому что во всем этом увлечении чувствуется что-то... что-то личное...

— Ты хочешь сказать, что я питаю к нему женское чувство?

— Да, ты угадала...

— И представь себе, я не стану спорить. Я этого не знаю, мне некогда было подумать об этом; но я говорю, что это все равно, это не важно — так это или не так. Не все ли равно, что подвинуло

нас на добро? лишь бы это было добро... Не все ли равно, что заставило нас сдвинуться с места?

— Нет, не все равно... Потому что это старая история, потому что и это добро кончится с окончанием чувства...

— О, пусть, пусть. Да хоть один день в жизни будешь сознавать себя человеком. Ну, я иду, возьми свой термометр.

Она вынула термометр и положила его на стол. Строева взглянула.

— Тридцать семь и восемь, — сказала она. — Немного больше, чем следует, но все же ничего. Помни, Надежда Ивановна, ты должна вернуться до моего отъезда.

— Я думаю. Да как же иначе? Ведь ребенка нельзя оставить... А ты... Ты не могла бы остаться?

— Нет, я не имею права...

— Служба? — иронически заметила Надежда Ивановна.

— Да, служба, мой друг.

— Да, да... так я вернусь. Прощай...

Она накинула шубу на плечи и ушла. Оказалось, что карета ждала ее. Убедившись, что у мальчика нет дифтерита, она сочла себя вправе не думать о дезинфекции.

— Только поскорей, поскорей! — сказала она кучеру. — Я тороплюсь.

— Да, барыня, вы часа полтора сидели! — сказал кучер.

— Неужто так долго?

— А то как же? не меньше!

— Ну, ты, как можешь, скорей поезжай.

Кучер быстро погнал лошадей. Надежду Ивановну охватило нетерпение, но вместе с тем и страх, как бы с ним что-нибудь не случилось.

Карета остановилась у того самого дома, где остался Барвинский. Она обратилась к дворнику.

— А что, этот барин, который приехал со мной, здесь?

— Барин? — переспросил дворник. — Да, барин действительно тут был... Чудной! Забрал всех, сперва в двадцать третьем номере, а потом из сто семнадцатого повытаскивал всех и услал к себе. А им и на руку... По всему дому прошелся и всем денег надавал. А народ здесь голодный, известно. А он, это, вынул пачку денег да так и тычет направо и налево. Чудной барин! прямо как полоумный. Ходил это, ходил, да хвать, это, больше денег нет ни копейки, а народ за ним так и бегает, так и рвут его на части. Постой, говорит, братцы, я еще достану, и сейчас на извозчика и укатил...

«Уехал... — думала Надежда Ивановна. — Но куда, куда? Я говорила, что его нельзя оставлять одного...»

Единственное место, куда она могла ехать, это на Кирочную, в его дом. Но у нее появился страх перед Ниной Александровной. Как она покажется ей без него?

Потом пришли в голову другие мысли: поехать в больницу, к Сторецкому. Но имеет ли она право сделать это? Он сказал, что сам знает, когда наступит конец. Но ведь они приедут и возьмут его насильно к себе... Нет, нет, она не имеет на это права.

И она велела извозчику ехать на Кирочную. Здесь, в квартире, было какое-то странное движение. Нина Александровна ходила в белом переднике, слышался шум воды, падающей из крана и ванной. В комнатах переставляли мебель.

— Вы одна? — спросила ее Нина Александровна. — Пойдемте в кабинет.

Надежда Ивановна пошла за ней и рассказала ей все, как было.

— Да, это понятно, — сказала Нина Александровна. — У него не хватило денег, и он поехал добыть их.

— Но где?

— Где-нибудь у ростовщика... Он знает, что я отдала ему все, что было в доме. Завтра я могу взять в банке, но сегодня не достала бы.

— Но где он? Приедет ли он?

— Домой он непременно приедет! — с уверенностью сказала Нина Александровна. — В самом безумном состоянии он всегда возвращался домой. Он приедет, но в каком виде? Боже, я боюсь, что безумие слишком быстро надвигается. Слишком быстро!.. Ах, вы не знаете...

Потом она жестом как бы отмахнула от себя мрачные мысли и прибавила:

— Пойдемте посмотрим... Теперь у нас меблированные комнаты...

Она показала ей всех своих гостей. Все это были женщины с детьми. Только часть спальни за ширмой занимал расслабленный человек, еще довольно молодой, но уже совершенно разбитый. Он жил в углу и питался тем, что ему давали соседи, такие же бедняки, как он, но которые все-таки мог-

ли выходить на улицу и так или иначе что-нибудь добыть.

Они опять вернулись в кабинет. Нина Александровна говорила:

— Это уже было с ним в Вильне. Там мы занимали небольшой одноэтажный дом. И вот, когда это случилось, дом точно так же наполнился. Потом я купила этот дом и подарила его им. Они и до сих пор им владеют.

Она говорила это без заметной тревоги, но вдруг в величайшем волнении поднялась.

— Нет, я не могу... Его надо найти! — воскликнула она.

— Но вы сказали, что он непременно вернется...

— Да, да. Но у меня вдруг явилось такое мрачное предчувствие; он что-то говорил о смерти, и мне вдруг стало страшно за него... Останьтесь здесь...

Она вышла, но через две минуты послышался звонок.

Надежда Ивановна выбежала из кабинета, отперла дверь. Вошла Нина Александровна, а вслед за нею Барвинский. Они встретились у подъезда.

Она была очень бледна, а он радостно улыбался и с видимым удовольствием потирал руки.

При виде этой странной радости у Надежды Ивановны пробежала по спине холодная струя.

— А, Надежда Ивановна здесь! — промолвил Барвинский и рассмеялся. — А я ведь сбежал! Ха-ха-ха! Ах да, слушайте, — прибавил он, когда горничная снимала с него пальто, — это вы должны сделать... Там, в этом доме, в квартире восемьде-

сят девятой, кажется, отыскалась одна... какое трогательное совпадение!.. Одна галлюцинантка... А? Каково? Ее там считают за юродивую, чуть ли даже не за святую... Ха-ха-ха! Сколько нашего брата рассыпано по Петербургу, и живем мы себе, и никто нас не сажает в больницу. Богатых, когда они сходят с ума, лечат, а бедных только объявляют святыми. Но вы ее к Сторецкому свезите... Какие глупости!.. пестрые глупости! — прибавил он, глядя мимо ее лица, и затем, не сводя глаз с какого-то явления, медленно пошел в кабинет.

Нина Александровна не пошла за ним; она подошла к Надежде Ивановне, взяла ее за руку и тихонько сказала:

— Он уже больше никуда не уйдет... Его теперь нельзя пустить. Я знаю его глаза!.. Теперь нужен Сторецкий!

— Я поеду за ним, — сказала Надежда Ивановна.

— Вы страшно добры! Все это должна была делать я. Но его оставить уже нельзя одного.

— Я поеду...

— Расскажите ему все и попросите осторожности... Я зайду к нему.

Надежда Ивановна осталась в передней, а Нина Александровна вошла в кабинет. Двери были полуотворены. Несколько минут в кабинете было молчание.

Надежда Ивановна видела, как Нина Александровна вошла, приблизилась к столу и села в кресло. Барвинский сидел на диване недвижно и внимательно смотрел в одну точку. Глаза его то рас-

ширялись, то суживались. Иногда рот кривился в усмешку, иногда нахмуривались брови.

Он зажмурил глаза, потом раскрыл их и затем сказал сквозь зубы:

— Все равно... Зрение тут ни при чем! Я всегда это утверждал.

— Ты мне говоришь, Антон? — спросила Нина Александровна.

— Я никому не говорю... Это просто надо записать.

— Я запишу! — ответила она и взяла в руки карандаш.

— Духовное лицо, кажется, греческое, в странной шапке... с блинообразной пришлепнутой верхушкой... На первом плане... Борода смолистого цвета... Просто стоит, протянув руки вперед... Все время так, руки без движения... Точно восковая фигура, и глаза неподвижны. Сизое облако вправо от него. Дальше швейцарский пейзаж и стадо коров... Из-за них вдали глядит пехотный юнкер, только голова видна и плечи с нашивками... Он вольноопределяющий. Между всем этим нет связи. Ближе первого плана, совсем близко ко мне, змейка, тоже лежит неподвижно... Свернулась колечком и лежит... Я закрываю глаза, — он опять зажмурил глаза, — все то же; раскрыл — опять то же. Марсельеза... Это где-то наверху, вдали... Я хотел бы прекратить это...

Он встряхнул головой, встал, подошел к столу и мерно, спокойно три раза ударил кулаком по доске...

— Все то же... — произнес он. — Это мучительно... Именно то, что против воли...

Нина Александровна быстро записывала, потом подняла голову и взглянула на него:

— Ты уснул бы, Антон...

— Не усну... Хотел бы, но не усну. Они все тут?

— Все, кого ты прислал...

— Позаботься о них, малютка... Я не могу. Ты видишь, что я больше не могу. Все меньше, и меньше, и меньше времени. Один только день я был сам собой... Теперь я уже никуда не гожусь, ты ведь видишь, они меня обступают... Это облако... Оно окружает мою голову... Ах!

Он схватился обеими руками за голову, опустился на колени перед столом и простонал.

— Милый мой, ты страдаешь, — тихо произнесла Нина Александровна.

Он не слышал и не откликнулся.

Надежда Ивановна поспешно оделась и выбежала на лестницу.

У подъезда стояли лошади Барвинских. Надежда Ивановна взглянула на часы — был в начале двенадцатый час. Она вспомнила о Строевой. «Неужели она уехала?»

Потом ей пришла в голову другая мысль — о больном мальчике: «Если Строева решилась уехать, то Генриетта присмотрит».

Лошади несли во весь дух. Путь предстоял длинный. Холодный ветер дул ей в лицо, но както не освежал ее голову. Сердце билось усиленно. У нее во всем теле было какое-то ощущение скованности. Ей все вспоминался Антон Михайлович в ту минуту, когда он схватился за голову и опустился на колени, и слышался его стон. Это был глухой стон отчаяния. Должно быть, он по-

чувствовал, как в эту минуту рассудок окончательно изменяет ему, и он больше не может владеть им.

Наконец вот и огромное здание больницы. В многочисленных частых окнах не видно света. Все здание окутано тьмой. Дом давно уже спит, только в нижнем этаже, где живут служащие, светло.

Когда сани остановились, было двенадцать часов ночи. Пришлось звонить и у ворот, и у подъезда со двора. Она спросила швейцара про Сторецкого, и тут-то именно у нее явилось сомнение в том, что застанет его дома. Если только он не дежурный, то вечера он никогда не проводит дома.

— Они нынче дежурные! — к ее радости ответил швейцар, и она быстро, не сняв шубы, направилась через длинный коридор, в ту комнату, где проводил ночь дежурный ординатор.

Прежде чем войти, она постучала в узенькую дверь.

— Кто такой? войдите! — послышался его голос.

Она вошла.

— Вы? В такое время?

— Да, я от Барвинских.

Сторецкий вскочил.

— А, значит, я был прав...

— Разве вы это находили?

— Да, я хотел успокоить бедную женщину... Но я знал, что ко мне приедут с минуты на минуту. Ну, что же? Э, да вы сами, кажется, кандидатка... Ну и видец у вас, нечего сказать! Вас бьет лихорадка... Право!

Она тяжело опустилась на диван, и ей показалось, что она сейчас зарыдает. Слезы подступали к горлу.

— Дайте мне воды.

— Я думаю, вам лучше бы хватить фунтика два бромистого натра, дитя мое! Ну, успокойтесь и рассказывайте! — сказал Сторецкий, подавая ей воду. — Вы его сейчас видели?

— Я с ним провела целый день... Уже здесь утром у него были галлюцинации. Когда мы остались вдвоем, в сборной, он мне признался, что видел пехотного юнкера и змейку...

— Женщины любят делать тайну даже из признаков болезни!..

— Я не могла сказать вам... Он прямо объявил мне, что знает момент, когда надо обратиться к вам.

— А Нина Александровна?

— Она послала меня к вам.

— Собственно моя роль будет состоять в том, чтобы, так или иначе, свезти его в лечебницу. К нам, конечно, нельзя. Во-первых, у нас нет приличного места, и так больные сидят друг на друге! Эх, тоже вот! Лечением называем! Лечим человеческую душу казарменным способом... А во-вторых, все больные, узнавши, что он такой же больной, как они, потом, когда он поправится, перестанут доверчиво относиться к нему. Мы свезем его к Ризкину, в его лечебницу. Но как же я оставлю больницу? Послать за Тетюшиным, что ли? Но едва ли он дома, едва ли его супружеская верность тянется так далеко... Вы не можете остаться?

— Нет, пошлите за Тетюшиным. Мне надо быть там. Кроме того, я должна домой заехать. Сегодня уезжает, а может быть, уехала Строева. И еще... Еще есть дело...

Послали за Тетюшиным и в это время говорили о Барвинском.

— Да, — говорил Сторецкий, — мне страшно жаль его головы. Бедняга, он сам мне говорил, что после каждого рецидива — а их было уже три — его ум теряет известную долю легкости и быстроты. Жаль, у него доброкачественная голова. А все-таки вы поступили дурно, что не сказали мне утром. Для таких состояний лишний день на воле — это на несколько недель затяжка болезни.

— Я не могла.

— Почему?

— Так, просто — не могла.

— А я вам все-таки дам бромистого натра! Право, вам не вредно.

Она не противилась. Сторецкий достал из ящика стола порошок, растворил его в полустакане воды и дал ей выпить. Скоро явился Тетюшин.

— Ох, милый, ты меня прямо с брачного ложа поднял! — воскликнул Тетюшин, входя в комнату, но, увидав Надежду Ивановну, сконфузился и прикусил обе губы. — Вот уж никак не ожидал, что у тебя дама! В чем дело?

— А в том, что Антон Михайлович болен. Я к нему еду, а ты останься в больнице.

— Как? Это серьезно! Что же с ним? Неужели это? — Он указал на лоб.

— Это самое. Но после расскажу. До свидания.

Сторецкий и Надежда Ивановна скоро собрались и уехали. Во время пути Сторецкий рассказывал ей о прежних годах Барвинского. Это был бедняк, хороший товарищ, который все брал с бою и поставил целью добиться кафедры. В академии остаться ему помешали интриги, хотя он заслуживал этого. Первое время он даже вел борьбу, а потом, убедившись, что ничего не поделаешь, он решил выдвинуться на частном поприще. Но вот он заболел, у него сделался первый припадок, и уже после этого в нем произошла радикальная перемена. Болезнь странно подействовала на его характер, он лишился упорства и как будто махнул рукой. И вот теперь вопрос ученого самолюбия для него уже совсем не существует; он примирился с долей частного ординатора в частной больнице и решил, что все это суета. Может быть, на него так повлияла женитьба, которая дала ему средства...

— Ах да, — перебил сам себя Сторецкий, — вы ведь хотели заехать к себе! Здесь в двух шагах Конюшенная.

— Да, на одну минуту.

— Ну, я вас ссажу, а сам поеду. Вы приедете потом. Так вы говорите, что у них там целый пансион?

— Да, пансион для бедных.

— Странное выражение сумасшествия! А вы, небось, восторгались его геройством, пока не догадались, что перед вами сумасшедший. Ну, вставайте. Да приезжайте; вы будете нужны Нине Александровне. Она, я думаю, сбилась с ног и потеряла голову...

— Представьте, нисколько! У нее вид спокойнее и лучше, чем всегда.

— Но это так кажется. Вы ее не знаете. А впрочем, может быть, от долговременного сожития, и она немножко того... До свидания!

Он уехал.

Надежда Ивановна поднялась к себе. На звонок быстро прибежала Генриетта.

— Уехала Ольга Сергеевна? — спросила Надежда Ивановна.

— Ты с ума сошла! Я уеду, не повидавшись с тобой! — крикнула ей Строева из второй комнаты. — Да и мальчишка-то твой что-то неважно ведет себя. Температура поднялась, и бред усилился.

— Не ошиблись ли мы?

— О нет. Чистейшее воспаление легкого. Ведь он с неделю пролежал в сырости.

Они одновременно вошли в гостиную. Строева из спальни, Надежда Ивановна из передней.

— Так ты осталась! Ну, спасибо, милый друг! — сказала Надежда Ивановна и, подойдя к ней, взяла ее обе руки. — Я ездила к Сторецкому. Он поехал туда... Антон Михайлович совсем плох... Он уже потерял разум... Сейчас, вероятно, его свезут в лечебницу. Ах... Впрочем, все тебе после расскажу. Теперь не в состоянии.

— Постой, постой! Милый друг, да на тебе лица нет! Ты похудела за эти несколько часов.

Надежда Ивановна пошатнулась; она хотела что-то сказать, но только сделала жест рукой и свалилась Строевой на руки.

— Ну народ! — молвила Строева, осторожно ведя ее в кресло.

Она усадила ее, отыскала нашатырный спирт и дала ей понюхать. Это не был обморок. Надежда Ивановна не потеряла сознания, она просто ослабела. Чрезмерное нервное волнение, тянувшееся без ослабления полсуток, теперь дало себя знать.

Ей было тяжело дышать, пришлось расстегнуть платье. Мальчик в соседней комнате кашлял, нельзя было отворить форточку.

— Ну, что же с ним? — спрашивала Строева, когда Надежда Ивановна оправилась.

— Я сейчас туда поеду.

— Ну нет; уж на этот раз я не пущу тебя. Изволь раздеться и в постель. Я тебя устрою на диване, а сама посижу с мальчиком.

— Ты думаешь, что я останусь? Нет, я не могу остаться. Там я нужна...

— Ему?

— Нет, к нему поехал Сторецкий. Я ей нужна. У нее полон дом нищих; они уступили им все комнаты, кроме кабинета, где он; и она одна на весь дом. Она и так, бедняжка, страдает оттого, что он болен, а еще эти заботы...

— Полон дом нищих? Что же это значит?

— Он навез. Он отдает им все...

— Как это странно!

— Это все равно... Я отдохну десять минут и поеду; я там нужна...

— Если так и если ты чувствуешь силы, то поезжай, я не смею держать тебя... Но берегись,

Надежда Ивановна, ты сама Бог знает в каком состоянии.

— Нет, я здорова. О, слишком здорова!

— Ну, я этого не нахожу. Оказывается, что и у тебя есть склонность к сумасшедшим идеям.

— Ты присмотришь за мальчиком?

— А ты на него и не взглянула.

— Ах, Ольга Сергеевна, ведь я знаю, что на тебя можно положиться; к чему этот формализм? Нужны мы одинаково и там, и здесь, ты будешь здесь, я там... Генриетта, помогите мне одеться. Я вернусь только завтра... Ты не беспокойся.

Она оделась. Строева сказала:

— Но уже завтра я непременно уеду.

— Да, да. Завтра ты уедешь, конечно... Прощай.

— Береги себя, Надежда Ивановна.

— Не бойся, я так здорова, что меня на все хватит.

Она уехала. А Генриетта смотрела на нее с непритворным изумлением; она привыкла видеть свою барыню спокойной, холодной, невозмутимой, и вдруг такая нервность, такое оживление. Она ничего не понимала.

## 14

Между тем в доме Барвинских совершались важные события.

Сторецкий вошел в кабинет, когда Антон Михайлович лежал на диване, а Нина Александровна сидела около него в кресле и читала ему газетную статью. Он старался вникнуть в слова, делая

страшные усилия, но неотразимые образы окружали его толпою. Он уже не мог отделаться от них. Он зажмуривал глаза, закрывал уши, но беспокойство его росло, грудь тяжело вздымалась, сердце сильно колотилось.

Он порывисто привстал на диване.

— Ну, не читай... Это бесполезно... Впрысни мне морфий... Я хочу уснуть. Я должен, я должен уснуть... Иначе я умру.

— Что, дружище, — сказал вошедший в это время Сторецкий, — дело наше дрянь?

Нина Александровна поднялась и со страхом посмотрела на Сторецкого. Она не знала, как отнесется Антон Михайлович к такому прямому вопросу.

— Да, — ответил Барвинский, по-видимому, обрадовавшийся его приходу. — Дай ты мне заснуть... Мне надо забыться, мне надо забыться...

— Поедем на свежий воздух, — предложил Сторецкий.

— Гм... Вы забываете, что я тоже психиатр и знаю все ваши уловки. На свежий воздух — это значит в клетку! Да, я сам хочу этого — поедем. Только мне надо заснуть.

— Отлично! Там и заснешь...

— Да ведь ни к чему! — сказал Барвинский. — Все равно придется кончить...

— Что кончить?

— Жизнь...

— Антон, не говори так... Слушайся доктора! — сказала Нина Александровна.

— Я слушаюсь, малютка... Вы думаете, что вы одни здесь? Греческий монах, пехотный юнкер,

змейка и еще что-то вроде крокодила. Ах, какая бессмыслица. Точно я в куклы играю...

— Едем, Антон Михайлович!

— В вашу крысоловку?

— Нет, мы к нам не поедем, мы к Ризкину.

— А, это благородно! Ризкин благороднейший человек! Он, кажется, дерет по двести пятьдесят в месяц? Ты, малютка, оставайся дома. Тебе там нечего делать.

— Нина Александровна завтра приедет туда.

Сторецкий приложил руку к его лбу.

— У тебя лихорадка! — сказал он. — Закутайся хорошенько. Нельзя ли в карете?

— Да, я уже велела карету... — сказала Нина Александровна.

— Ну, скорей же, скорей! — как-то слишком нетерпеливо заговорил Антон Михайлович, и глаза его при этом засверкали. — Мне это надоело. Вообще вы мне все надоели!

У Нины Александровны лицо было бледно, вытянуто и принужденно спокойно. Она принесла в кабинет шубу и помогла ему надеть. Сторецкий надел пальто.

Он взял Барвинского под руки и вывел на лестницу. Он тихонько шепнул Нине Александровне:

— Я вернусь к вам. Я его отвезу в лечебницу доктора Ризкина. Она прекрасно устроена. Там ему будет хорошо. Я вернусь часа через полтора.

— Антон! — нерешительно произнесла Нина Александровна, желая с ним проститься.

Но он не оглянулся. Он торопливо сходил с лестницы, и, наконец, они исчезли в дверях.

«Теперь я для него уже не существую!» — подумала Нина Александровна.

Она, шатаясь, пошла в квартиру.

Все силы, пришедшие у нее в такое страшное напряжение, как будто разом оставили ее. Она ухватилась за дверь и, оставив ее отворенною, едва двигая ногами, придерживаясь то за вешалку, то за стену, добралась до кабинета и повалилась на диван. Тут она потеряла сознание.

Надежда Ивановна, позвонив у подъезда и ни о чем не спросив заспанного швейцара, прошла наверх, но остановилась перед растворенной дверью. Передняя была освещена горящей лампой. Ее поразила тишина.

«Что это значит? — подумала она. — Неужели они все заснули? Но почему дверь отворена?»

Она нерешительно остановилась на пороге.

— Нина Александровна! — прошептала она, но ответа не получила.

«Она спит», — подумала она и подошла ближе. Свет от лампы падал на лицо Нины Александровны. Лицо ее было мертвенно бледно, но она в самом деле спала. Обморок, в который она впала после страшного нервного напряжения, перешел в сон, и спала она крепко.

Надежда Ивановна решила не будить ее. Она тихонько подошла к креслу у стола, села и начала соображать, что здесь случилось? И вдруг для нее стало совершенно ясно, что Сторецкий увез Антона Михайловича в лечебницу, как собирался.

Она подумала, что ей лучше выйти из кабинета, и перешла в столовую. Здесь были остатки чаю. На столе стоял еще теплый самовар и закуски.

Она машинально налила себе чашку чаю и стала есть что-то, но вдруг поймала себя на этом и усмехнулась: как странно есть и пить при таких обстоятельствах! Да ей и не хотелось ни того, ни другого. Просто вся душа ее ушла в другие интересы, а руки, привыкшие при виде самовара возиться с чаем, при виде закусок — тянуться к ним, сами все это сделали.

Она выпила чай и опять тихонько вошла в кабинет. Нина Александровна по-прежнему спала глубоким сном.

Надежда Ивановна подошла к столу. Большой средний ящик стола был выдвинут. На столе лежала, очевидно, вынутая из него папка, наполненная клочками исписанной бумаги. Сверху была надпись: «Материалы для моей диссертации», а внизу стояли слова: «Передать Н.И.».

Она машинально раскрыла папку и перебирала клочки бумаги. Они были исписаны характерным отрывистым почерком Антона Михайловича, и тут ей почему-то пришел в голову недавний разговор с ним в больнице, когда он сказал, что она выполнит его работу. Она опять посмотрела на обложку, и теперь буквы «Н.И.» показались ей ясными.

Сопоставив тот разговор с этой надписью, она сочла себя вправе рассмотреть подробно папку; но здесь это было неудобно делать, она взяла ее и перешла в столовую, а дверь в кабинет притворила, оставив только маленькую щелку.

И вот, в то время, как в доме все спало, она углубилась в беглое изучение материала, собранного Антоном Михайловичем для его диссертации.

Чем больше она углублялась, тем толще становилась куча уже прочитанных ею листов, тем сильнее она поражалась одним обстоятельством: все факты, записанные Антоном Михайловичем, все тонкие соображения и выводы касались той самой болезни, которой страдал он сам.

И это был действительно богатый материал, какого она еще не встречала ни в одной книге. Наблюдения были обставлены тщательно и строго проверены. Она быстро пробегала листы, и тут она поразилась еще больше. Последние наблюдения его были взяты прямо из его болезни. Подробно были записаны все ощущения. Он записывал их в то время, как испытывал. На каждом шагу встречались выражения: «Я вижу... я чувствую... мне кажется... я переменяю позу...» Сюда вошли змейка, и греческий монах, и пехотный юнкер.

В передней послышались осторожные шаги. Она тревожно поднялась и пошла к порогу передней. Там, стоя на цыпочках около вешалки, возился со своей шубой Сторецкий.

— Вы вернулись уже? — с изумлением спросила она его. — Разве прошло так много времени?

— Ах, это вы? — воскликнул Сторецкий. — А она... Она уснула?

— Да, я застала ее спящей...

Он сел и прибавил:

— Адски устал и намерзся. В общей сложности верст двенадцать отмахал. У вас, кажется, есть чай?

— Почти холодный.

— Ничего. Он будет согрет вашим присутствием. Налейте-ка!

Она налила ему чаю.

— Ну денек! — сказал Сторецкий, прихлебывая чай из стакана. — Оно бы лучше стакан пива, ну да уж Бог с ним! Измучил он меня за дорогу. Всю дорогу доказывал, что подлец и негодяй, но я, разумеется, ему не поверил.

— Что это у вас за фолиант?

— Это... это я нашла на столе, в кабинете. Это его работа.

— К диссертации?

— Да... Он собирался кончить ее.

— Ничего, мы его скоро отходим. У него на этот раз острая форма. Очень уж быстро он дошел до конца. Когда я его привез, он уже был совсем готов. А это дает надежду на то, что это скоро пройдет. Я думаю, недели через три опять вместе с ним поедем на Крестовский.

— Послушайте... Я давно хотела вам сказать. Вы самый благоразумный из его приятелей; неужели вы не можете повлиять так, чтобы эти попойки, которые для него гибельны, не повторялись?

— Э, да к чему, матушка моя?

— Ведь это сокращает жизнь.

— Ну и пусть его сокращает. Жизнь, я вам скажу, такая скучища, что чем она короче, тем лучше. Вы подумайте, что мы в жизни видим? Одно несчастье. Сегодня бурное несчастье, завтра тихое, послезавтра блаженное! О, черт возьми, это, наконец, становится невыносимым! Я завидую Антону Михайловичу.

— Завидуете ему?

— Ну да. У него по крайней мере есть светлые промежутки, когда он ничего этого не видит и не

слышит — живет себе в безобидной сфере каких-то безвредных змеек, греческих монахов, пехотных юнкеров. Я хотел бы хоть неделю пожить в этом обществе. Боже мой, мы ничего не видим, кроме сумасшествия! Уж я не говорю о больных, которые так и называются больными, но в каждом из тех, что свободно ходят по улице, или важно заседают в суде, в думе, в ученом совете, или наслаждаются жизнью в дорогом ресторане и прочее и прочее, я моими особыми глазами психиатра, этой проклятой специальности, — вижу сумасшедшую сторону! У каждого есть какое-нибудь безумие. Вот вы, голубушка, — у вас так ярко выражено безумие, что хоть в женскую палату...

— У меня?

— Еще бы! Вы ищите идеала в помойной яме! Разве это не безумие? Ну, вот оно и сказалось: вы нашли его в сумасшедших подвигах галлюцинанта!

— Так что, самоотвержение, способность к подвигу, по-вашему, могут быть только продуктом галлюцинаций?

— Без всякого сомнения. Какие там подвиги, душа моя, когда мы, люди, по натуре нашей скотее скотов и животнее животных? Какие тут подвиги, какие тут идеалы? Каждый кушай свою порцию супа и мяса и занимайся своею специальностью...

— Не будем говорить об этом, Григорий Игнатьевич!

— Ну, не будем, коли неохота! Только это плохое доказательство вашей правоты. Ах, ах, ах!

пять часов! Я думаю, Тетюшин там уже проклял нас. Ну, так и быть, даже проклятым приятно в обществе с такой милой особой, как вы. А что, ваша Строева осталась?

— Да, поневоле.

— У вас тоже, кажется, пансионер?

— Да, есть. Вы хорошо сделаете, если заедете посмотреть его. У него воспаление легкого.

— Ах, я думаю, в один прекрасный день мы все разом сойдем с ума! О, это будет самый веселый день в нашей жизни! Вы здесь останетесь?

— Да, до утра.

— Завтра в больницу не придете?

— Нет, извинитесь перед Семеном Ивановичем.

— Его уже нет, и все сокрылось!.. А? Ах, сердечный народ эти женщины!.. Я завтра все-таки заеду сюда. Я думаю, что этот дом начнет теперь регулярно производить сумасшедших.

Он встал.

— Поеду, отпущу Тетюшина.

— Но вы не сказали, как и когда можно видеть Антона Михайловича!

— Видеть можно каждый день. Ведь психиатр, когда сходит с ума, пользуется особыми привилегиями в доме сумасшедших, все равно как инженеры даром ездят в первом классе... Но это бесполезно. Он ничего теперь не признает. Это будет длиться, по крайней мере, дней десять, а потом смягчится.

— Слушайте, скажите мне ваше мнение. Правда, что каждый такой рецидив пагубно влияет на умственные способности?

— Печальная правда, мой друг. Еще таких три-четыре припадка — притом же они будут учащаться, — и наш милый, остроумный Антон Михайлович в подметки не будет годиться тупому красавцу Черницыну...

— Это ужасно!

— Вы боитесь, что он тогда не будет годиться в герои романа? Ничего, пока это случится, вы успеете совершить завязку и развязку; на ваш век хватит его.

Он поцеловал ей руку и тихо вышел в переднюю.

— Вы ее не будите ни в каком случае. Я думаю, что она будет спать около 24 часов, и пусть спит. Это одно может предохранить ее от сильного умственного потрясения. Ну, прощайте, прекрасная коллега! Нет, знаете, с тех пор, как завелись у нас женщины-врачи, нашему брату веселей жить стало. Все-таки, знаете, среди скучной практики нет-нет, да и воззрят на тебя прекрасные глазки... Хотя бы даже и так сердито, как ваши сейчас... Вот вам и доказательство пользы женского медицинского института!..

Он ушел. Надежда Ивановна заперла двери и вернулась в столовую.

## 15

Она не заметила, как прошло время и пробило восемь часов. В доме началось движение. В кухне проснулась горничная.

Вот уже и самовар на столе; подали хлеб, масло, сливки. Пробило девять часов. А Нина Александровна не просыпалась.

Надежда Ивановна завернула в кабинет, погасила лампу, плотнее опустила шторы и совсем притворила дверь.

— Пусть спит, — тихонько сказала она.

Она напилась чаю, позвала горничную и вместе с нею зашла к импровизированным жильцам, опросила всех, что кому надо, велела всем подать завтрак и затем сказала:

— Я еду на один час, не больше, а вы не запирайте дверь. Надо, чтобы звонка совсем не было слышно. Старайтесь быть поближе к передней, чтобы никто не звонил — ни почтальон, ни больные, которые могут спрашивать барина. Ходите совсем тихо, говорите шепотом. Нина Александровна очень устала, она должна поспать как можно дольше.

Было около десяти часов, когда она вошла в свою квартиру. Строева уже не спала. Генриетта смотрела на нее с каким-то состраданием: что это сделалось с ее госпожой, которая вела всегда такой правильный образ жизни?

— А, беглянка! ты таки вспомнила, что у тебя есть дом! — воскликнула Строева.

— Что мальчуган? — спросила Надежда Ивановна.

— Ничего, ничего, у него кризис миновал. Он теперь идет на поправку. Я с ним провозилась всю ночь.

— Спасибо тебе, дорогая!

Надежда Ивановна поцеловала ее.

— Что же там у вас? — спросила Строева.

— Он совсем заболел.

— Paranoia hallucinate?

— Да, paranoia hallucinate... Как сказал Сторецкий, так и есть. Вчера ночью его увез Сторецкий в лечебницу Ризкина. Здесь есть такая частная лечебница, очень благоустроенная. И он, уезжая уже, кажется, не узнал Нину Александровну. А она, бедная, до того истомилась, что заснула как мертвая, и до сих пор спит. Я сейчас опять туда поеду.

— Ты бы лучше переселилась туда! — иронически сказала Строева.

— Ни к чему иронизировать, мой друг. Там в самом деле очень тяжелое положение. Дом полон несчастных, а Нина Александровна, я думаю, теперь не способна ни к какой распорядительности. Ну, где же мой мальчуган?

Надежда Ивановна зашла в спальню и посмотрела на мальчика. Он встретил ее улыбкой. Он уже успел почувствовать и понять, что ему хорошо.

— Ну что? тебе лучше? — спросила Надежда Ивановна.

— Мне хорошо! — сказал мальчик и заплакал, но, видимо, не от горя.

Она хотела погладить его по голове, он схватил ее руку и приложил к ней свои горячие губы.

— Теперь все пойдет хорошо! — сказала Надежда Ивановна. — Скоро встанешь и будешь бегать.

Он улыбнулся сквозь слезы.

— А мать? — спросил он.

— Ей тоже хорошо. Ты скоро увидишься с нею; только поскорей выздоравливай. Я вот сейчас увижу ее. Кланяться?

Он кивнул головой. Надежда Ивановна поцеловала его в лоб и вышла к Строевой.

— Он ужасно симпатичен! правда? — сказала она.

— О, я уж привязалась к нему. И знаешь, я, кажется, из-за него не уеду. Мне как-то страшно уехать, оставив его еще в постели. Тем больше, что ты какая-то сумасшедшая.

— А кто обвинял меня в том, что я не умею смотреть правильными глазами?

— Да, но разве я могла думать, что он болен?

— Ах, ну это все равно! Так ты остаешься? ты это решила?

— Да, пока мальчик не встанет. Я не могу доверить его тебе.

— Узнаю мою милую, славную, добрую Строеву! Спасибо тебе. Ну, давай что-нибудь сделаем вместе. Я пила чай, но с тобой еще выпью, а потом туда...

— Кофе для разнообразия! Кстати, вспомним цюрихскую старину, когда мы по утрам пили хороший немецкий кофе с чудными швейцарскими сливками!

— Великолепно! Генриетта, принесите нам кофе!

## 16

Когда, часов около двенадцати, Надежда Ивановна приехала на Кирочную, Нина Александровна была уже на ногах. Она только что взяла прохладную ванну, чтобы окончательно привести себя в бодрое состояние. Лицо ее было бледно, но в нем не было выражения застывшего отчаяния, как вчера. Что-то мягкое светилось в ее глазах.

Она пошла ей навстречу и молча крепко пожала ей руки.

— Вы хорошо выспались? — спросила ее Надежда Ивановна.

— О да, благодаря вам. А вы, кажется, всю ночь не спали?..

— Мне не хотелось. Я просматривала папку... Это ничего?

— Он просил вас об этом. Он сделал эту надпись для вас. А я вас ждала! — прибавила она. — Я, конечно, не смею просить... Но если вы можете остаться, то нельзя ли мне уйти?

— Вы хотите прогуляться?

— Отчасти. Но есть и дело. Видите ли, нельзя их оставить так... Уж раз мы их взяли, то должны устроить их судьбу. Это большое несчастье — жить в подвалах и трущобах. Но гораздо большее несчастье — пожить некоторое время в хорошей квартире и тепле и потом опять попасть в трущобу.

— Что же вы хотите сделать?

— Я поеду за город и где-нибудь в окрестностях подыщу небольшой домик. Его можно купить

для них. Они будут владеть им, как общей собственностью. А потом надо положить небольшой капитал в банк, чтобы они были обеспечены. Я знаю, как это делается. Мы так поступали уже два раза. Года три тому назад в Киеве... Там он тоже заболел... Потом в Вильне. Вы посидите.

— О да, конечно.

Надежда Ивановна отпустила ее, а сама вступила в обязанности хозяйки и вместе сестры милосердия. Приходилось вести борьбу с прислугой, которая тяготилась новыми обязанностями. Кроме того, в числе жильцов были больные, их надо было осмотреть и дать им лекарство.

Когда в больнице кончился обход, часа в три заехал Сторецкий. Он посидел недолго и сказал, что сейчас едет в лечебницу Ризкина, чтобы узнать, как идет болезнь, затем обещал приехать к обеду.

Часов в шесть они вошли почти одновременно: Сторецкий и Нина Александровна. Сторецкий не сообщил ничего ни утешительного, ни угрожающего. Он сказал, что Нина Александровна завтра может заехать сама туда.

Они сели обедать. Нина Александровна ничего не сказала о своих розысках. Надежда Ивановна спросила ее:

— Вы нашли что-нибудь подходящее?

Она замялась и ответила неопределенно:

— Почти что ничего.

Сторецкий заинтересовался.

— А вы что́ искали? — спросил он.

— Пустяки... Это относится к хозяйству! — ответила Нина Александровна.

Надежда Ивановна поняла, что она хочет сохранить это в тайне. Сторецкий скоро после обеда уехал. Его всегда в этот час тянуло ко сну. Она рассчитывала сегодня ночевать дома, так как Нина Александровна казалась ей достаточно бодрой и сильной.

— Вы на меня не сердитесь, — сказала Нина Александровна, когда они в кабинете уселись на диване. — Я не хотела при нем говорить об этом деле. К чему? Он не сумел бы отнестись к этому, как следует. Я знаю, что вы меня поймете, потому прямо и сказала. Я знаю, что вы дорожите его волей так же, как я. А им странно, что я привожу в исполнение его безумные желания. Вам это не странно, не правда ли, я не ошиблась?

— Нет, вы не ошиблись. Для меня только и ценны эти безумные распоряжения и действия.

Нина Александровна придвинулась к ней ближе и заговорила голосом, в котором слышался какой-то новый оттенок доверчивости:

— Да, — задумчиво сказала она, — в вас я встречаю первого человека, который так же чувствует, как я.

— Вы давно замужем, Нина Александровна? — спросила ее Надежда Ивановна и сама несколько удивилась этому вопросу, так как никогда прежде не решилась бы говорить с нею о ее личном деле.

— Около четырех лет. Я и встретилась с ним в период, когда он был болен. Это было в Киеве. Я гостила у своих дальних родственников, а он лечил их и так иногда бывал. Мне его представили как очень интересного, веселого собеседника. Но,

когда я приехала и в первый раз увидела его, у него уже были странные глаза. Я помню, как пришла к нему в приемный день и застала странную сцену. В его гостиной было душ тридцать народу, в том числе человек десять очень состоятельных людей, известных в городе, которые щедро платили. Он вышел с растрепанными волосами, с резкими движениями и поразил всех грубым заявлением, что у него сегодня нет времени заниматься привилегированными больными. Я сказала, что не стану лечиться, а прошу позволения остаться. «Но к чему?» — как-то презрительно сказал он и затем, кажется, забыл обо мне. Богатые пациенты ушли с негодованием, и он занялся бедняками. Это было нечто странное, невиданное и несомненно безумное. Он даже не звал их в кабинет, а расспрашивал тут же, и странным мне особенно показалось то, что он гораздо меньше расспрашивал о болезни, чем о положении. «Где вы служите? Сколько зарабатываете? Вы работаете 8 часов в сутки и получаете пятнадцать рублей? Ну, вот от этого у вас и приключилась болезнь. Вы хотите, чтобы я написал вам рецепт? Ну нет, это ни к чему. Позвольте мне вместо рецепта предложить вам вот это: перемените квартиру, найдите хорошую кухарку, пусть она покупает вам хорошее мясо. У вас нет денег? Так я вам дам, сколько могу... У меня, господа, всех денег около двух тысяч. Я думаю, что будет справедливо, если вы поделите их сами». Я стояла у окна, пораженная всем этим; он не обращал на меня внимания, страшно занятый своим делом; осталось у него пятеро; другие получили деньги

и, пораженные, растерянные, ушли. Оставшихся он повел в квартиру и показал им комнаты. «Будем жить вместе!» — сказал он им, потом предложил принести свои вещи. Я осталась одна в гостиной. Он вошел и опять резко сказал мне: «Я не могу посвятить вам времени!» Но он, конечно, не знал, как я была несчастна до встречи с ним. Сколько я выстрадала оттого, что на каждом шагу ошибалась в людях и разочаровывалась. Я не буду вам этого рассказывать, это скучно. «Вы всегда такой?» — спросила я. «К сожалению, далеко не всегда! О, если б я был всегда такой, то меня давно не считали бы приятным членом общества, не принимали бы так охотно в гостиных! Я много задолжал!» — «Кому?» — «Вот этим беднякам! Для них у меня только два часа в неделю — от девяти до десяти утра. Как раз в это время они добывают хлеб. Я страшно задолжал им!» Тут он позвал лакея и приказал ему повесить на дверях крупную надпись: «Принимают только бедных и бесплатно». Все это поразило меня и с каждой минутой все больше и больше приковывало меня к нему. Он прибавил: «Да, я их скоро вылечил бы всех, этих бедняков, расстроивших себе нервы и мозги непосильной заботой о куске хлеба. Но, к сожалению, я вел безобразную жизнь и не сумел скопить денег». — «Возьмите у меня!» — сказала я. Он вскинул на меня вопросительные глаза: «У вас? Сколько же вы можете пожертвовать? (Он иронически подчеркнул это слово.) Рублей десять? да?» — «Сколько хотите, сколько нужно, до тех пор, пока это будет идти на хорошее дело!» — сказала я. Опять произош-

ло нечто странное. Он посмотрел мне в глаза, и, должно быть, его нервы были в том состоянии, когда он умел видеть человека насквозь, проникать в его душу. Он увидел в моих глазах полную искренность и, ничего не расспрашивая, сказал: «Это хорошо! Это превосходно! Давайте работать вместе!» И я с той минуты почти не покидала его. Он проболел два месяца. Хотя он нередко и не узнавал меня в те дни, но все-таки привык ко мне. У него никого не было близкого, и вот, когда он наконец стал здоров, нам ничего не оставалось, как обвенчаться. Но Боже! какое страшное испытание я перенесла! Как только он окончательно оправился, он стал вести ту самую жизнь, какую вел здесь все эти месяцы. Передо мной был слабый человек, покорный раб своих страстей, которые были у него болезненно обострены и граничили с порочностью. Его знакомые были мне антипатичны, его вкусы ужасны. Начались кутежи... Доходило даже до оскорблений, так как он не останавливался перед близостью с женщинами, о которых мне страшно вспоминать. Я растерялась, я ничего не понимала. Я любила в нем человека, казавшегося мне идеалом, такого, какого я так долго искала, и вдруг оказывается, что он такой же, как все, какими наполнена земля. Я пережила страшное горе. Я, может быть, не перенесла бы его, но воспоминание о тех днях, когда я еще не была его женой, помогло мне; были минуты, когда оскорбительный образ действий его способен был оттолкнуть меня от него совсем, и тогда мне являлся тот образ. Через год он опять заболел, не так ярко это было выражено... и я

опять пережила счастье. Опять это был новый человек, идеальный, высокий. Надо пережить это, чтобы понять мои муки. Сознание, что только его несчастье, страшная неизлечимая болезнь делает его человеком, а меня счастливой... Ведь это ужасно! Он, светлый идеалист по своим убеждениям, здоровый — не был в состоянии противиться низким требованиям натуры и малейшим соблазнам. Он был слаб, как ребенок, когда же к нему приходила болезнь, его нервы напрягались, у него являлся характер, упорство, он разом побеждал свои слабости, становился закаленным и делался самим собой. Моя жизнь превратилась в какое-то томительно сладкое ожидание сладкого несчастья, которое, вместе с тем, одно только способно было сделать меня счастливой. Да, и в то же время я этого страшилась, потому что для него же это было страданием! Я страшилась малейшего излишества, и должна была оберегать его от них. Потом это еще случилось в Вильне и, наконец, вот здесь. Но теперь у меня явился какой-то новый, непонятный страх перед будущим. В его отрывочных словах было что-то новое. Я боюсь, боюсь...

— Чего же вы боитесь, Нина Александровна?

— Мне страшно вымолвить... я не скажу. Но мне во всем этом чувствуется что-то мрачное, безысходное. Эти слова, эти распоряжения, эти надписи — хотя бы эта, что он сделал для вас на папке...

— Это было только мрачное настроение.

— Нет, он всегда верил в будущее, даже в самые мучительные минуты, а теперь... Я страшусь... У меня нет ничего, кроме этого... Этих не-

многих дней, когда он честен и силен... Когда он человек! — прибавила она раздумчиво, как бы уже только про себя.

Потом она помолчала и вновь заговорила, уже другим тоном:

— Я вам надоела? Вам пора ехать домой... Я знаю, ведь у вас больной мальчик... Мне как-то вскользь сказал это Антон... Слушайте, я еще хочу попросить у вас прощения.

— За что, Нина Александровна?

— За то, что я смотрела на вас, как на других... Я не доверяла вам, и простите, я вам все скажу. Вашу привязанность к нему я объясняла просто как пошлую интригу, жажду романтического приключения. Я увидела, что неправа, несколько дней тому назад; из чего, это вы сами знаете. Я теперь знаю, что вы любите в нем то же, что и я. Я знаю, что вы тогда, в те дни... Вот, когда у нас был обед и в другие, были так же несчастны, как и я, и что вы теперь так же осиротели... Не правда ли?

Надежда Ивановна вздохнула и крепко пожала ей руку. Она сказала:

— Спасибо вам за это! — потом она поднялась: — Да, я поеду домой. Там Строева у меня. Она привязалась к ребенку и из-за него осталась. Завтра утром я опять буду здесь — вам одной не справиться.

— Да, вот что — насчет домика. Я ведь почти присмотрела его. Если у вас будет охота, мы завтра вместе съездим и посмотрим. Я бы хотела, чтобы там у каждого из них был самостоятельный уголок и чтобы не пришлось перестраивать.

Они простились и расстались.

## 17

Прошло несколько дней. Строева окончательно решила не уезжать до тех пор, пока совершенно не поставит мальчика на ноги.

А Надежда Ивановна, уверенная, что может на нее положиться, занималась другими делами. Она раза два посетила Антона Михайловича. Но он ее совсем не признал.

Она уходила от него со сдавленным сердцем. Нину Александровну он все-таки узнавал. Она сказала ему:

— Это я, твоя малютка!

— А, малютка, — очень серьезно сказал он и посмотрел на нее как-то заботливо. — Уходи же отсюда, а то они и тобой еще займутся! Уходи!

Остальное время они вдвоем посвящали устройству домика, который Нина Александровна уже приобрела в собственность. Через неделю уже домик был совершенно устроен. И вот наступил день, когда квартира на Кирочной освободилась от излишних жильцов. Нина Александровна сказала:

— Боюсь, что теперь будет еще грустнее, чем прежде. Я уже свыклась с этими маленькими заботами.

Сторецкий часто ездил в лечебницу, а оттуда заезжал к Нине Александровне и каждый раз сообщал все более и более благоприятные сведения.

Прошло около двух недель после того, как Антон Михайлович поступил в лечебницу.

Однажды Надежда Ивановна приехала на Кирочную вечером, часов в девять, и была удивле-

на, услышав в кабинете мужской голос; она вошла туда.

Антон Михайлович поднялся и пошел ей навстречу с раскрытыми объятиями. Он действительно обнял ее и поцеловал в лоб. Нина Александровна смотрела на них с улыбкой.

— Ну, слава Богу, друзья мои, что я с вами! — сказал он.

— Когда? — спросила Надежда Ивановна.

— Сегодня к обеду выпущен! О, какое это блаженство, быть выпущенным откуда-нибудь! Начинаешь ценить жизнь, право. Я думаю, что если бы в один прекрасный день выпустили на свободу всех заключенных на вечные времена, то не было бы более счастливых людей на свете.

Ему очень хотелось говорить много, но ему не позволили. Уже в десять часов обе женщины настойчиво стали просить его ложиться спать. Он плохо спал в больнице, и у него еще был очень утомленный вид.

Он покорно согласился, и они скоро расстались. Прощаясь, он сказал Надежде Ивановне:

— Малютка говорит, что я не узнавал вас и что вы обижены.

— Я не обижена, но мне было больно! — ответила Надежда Ивановна.

— А ведь я, в сущности, отлично знал, что это вы, но у меня была какая-то странная злоба против вас.

— Против меня? — Надежда Ивановна вздрогнула.

— Да, представьте... Мне казалось, что вы принадлежите к той воображаемой своре, которая

меня преследовала. Это оттого, что мы с вами в последние дни провели вместе много часов. Вы слишком засели в моей душе. А все, что мне вспоминалось, я относил к врагам. Но теперь мы большие друзья, не правда ли? Особенно хорошо с вашей стороны то, что вы не забывали мою малютку и помогали ей жить.

Он заперся в кабинете и приготовился ко сну. Нина Александровна, прощаясь с нею, говорила ей:

— Он далеко еще не здоров. Наедине с собой он еще страдает от видений, но я вхожу к нему и начинаю говорить с ним, пока он не заснет, тогда это исчезает. И меня ужасно пугает, что он так приучился к морфию. Без морфия он заснуть не мог, и теперь, кажется, намерен прибегать к этому, он намекал. Я этого боюсь страшно.

— Мы его отучим! — сказала Надежда Ивановна и, простившись с нею, уехала.

## 18

В больнице узнали о выходе из лечебницы Барвинского. Семен Иванович счел своим долгом посетить его.

Явилась Кулькова, затем зашел к нему и Черницын. Антон Михайлович был с ним любезен, ценя внимание.

Словом, было сколько угодно данных в пользу того, что Барвинский вполне оправился. Он уже раза два выезжал. Вместе со Сторецким он посетил зимние бега и с удовольствием просидел два заезда, но не играл.

По вечерам он сидел в своем кабинете и деятельно работал над своей папкой, приводя в порядок материал.

— Ты собираешься писать диссертацию? — спросила его Нина Александровна.

— Я не захожу так далеко. Я только хочу привести в порядок эти клочки.

Он настоял, чтобы Нина Александровна съездила без него в театр; для себя он находил это еще слишком рано, а ей необходимо было освежиться. Она неохотно согласилась. Вопрос был поставлен так, что это могло доставить ему большое удовольствие.

Но, едучи в театр, Нина Александровна заехала к Надежде Ивановне и просила ее на всякий случай наведаться на Кирочную. Она прибавила:

— О моем визите к вам ничего не говорите.

И Надежда Ивановна поспешила исполнить ее просьбу. В девять часов она была на Кирочной. Она застала Барвинского за разбором материала.

— А, — сказал он, — вы очень, очень кстати. Вы ведь просматривали это?

— Да, я все просмотрела.

— Ну, и что нашли?

— Очень ценный материал.

— Не правда ли? Мне тоже казалось. Я многое теперь прибавил. Можно сказать, самые свежие и достоверные факты. Вам надо с ними познакомиться.

— Зачем? Ведь вы, вероятно, скоро окончите всю работу, и мы прочитаем ее в печати.

— Сие неизвестно...

— Почему?

— Ну, как вам сказать... Не будем вдаваться в исследование вопросов глубоких. Садитесь, я вам прочитаю.

Она села и начала слушать. Он прочитал ей целый ряд ярких наблюдений, описанных с удивительной точностью.

— Это очень важные вещи! — сказала она.

— Да, но это не все. Тут есть пробелы. Вы видите, здесь параллельно, одновременно идут явления двоякого характера. Чистая галлюцинация, когда явления принимаются за действительность, когда чувствующий субъект теряет способность относиться к ним критически и является активным деятелем, участником воображаемых событий, и галлюцинации другого рода, когда явления представляются субъекту посторонним, отдельным от него самого, и он смотрит на него, как равнодушный зритель. Он может сказать: мне представляется вот что! Вы поняли?

— Это ясно! — ответила Надежда Ивановна, внимательно слушавшая его.

— Ну да... Так вот что я упустил из виду. Я все останавливался на исследовании отношения самого субъекта к тем и к другим явлениям, и мне кажется, что эта сторона у меня обследована довольно полно. Но я не обращал внимания на то, в каком отношении явления того и другого рода находятся между собой, зависят ли они одно от другого, вступают ли во внутреннюю связь между собою, или между ними какое-нибудь сродство, или они только параллельны и между ними нет ниче-

го общего, кроме одновременности. Я не могу простить себе это, — что не останавливался на этой стороне.

— Но это можно узнать посредством наблюдения над больными в нашей больнице...

— О, посредством наблюдения! Но если бы вы знали, как мало этому можно доверять. То есть посредством расспросов, вы хотите сказать? Но эти почтенные больные лгут самым бессовестным образом. Надо вам знать, что всякий душевнобольной, а в особенности галлюцинант, в большей или меньшей степени непременно художник; его бред — это бессознательное, мимовольное творчество. Оно не регулируется разумом, оттого бессвязно, не симметрично и полно чудовищных преувеличений; но, рассказывая, они хотят все-таки еще творить, и потому лгут, заполняют пробелы выдумкой. Там, где им кажется некрасиво или не довольно умно, они сочиняют. В этом я убедился. Я сам себя ловил на этой склонности к сочинению, когда меня расспрашивал мой врач в лечебнице. Без сомнения, я относился к себе более критически, насколько это возможно при болезненном состоянии, потому что я врач. Надо обладать невероятной опытностью, чтобы уметь отбросить действительное от сочиненного. Нет, я хотел бы проверить личным опытом.

— Каким образом?

— Очень просто. Несколько капель опия или морфия внутрь вызывают у меня эти явления.

— Полноте, Антон Михайлович, этого нельзя допустить.

— Нет, я это сделаю... Я буду вам рассказывать, а вы садитесь и записывайте. Без этого наблюдения моя книга потеряет свое значение. Я хотел сделать это уже несколько дней тому назад, но Нину боюсь взять в сотрудники, — это ее встревожит. А она и без того взяла всю свою порцию тревоги.

— Вы думаете, что меня это не тревожит?

— Вас, это — ничего. Вы коллега!

— Но ваше здоровье и мне дорого! — дрожащим голосом промолвила она.

— Но истина должна быть вам дороже, как и мне. Начнемте опыт.

— Антон Михайлович, лучше его не делать.

— Совсем не лучше! Если вас это затрудняет, я сделаю без вас, — прибавил он несколько сухо.

— Нет, в таком случае делайте, я буду присутствовать.

— Вот и отлично! Мы прибегнем к морфию. Я предпочитаю взять его внутрь.

Он встал, принес рюмку с водой, влил из пузырька несколько капель и выпил. Потом начал говорить что-то о третьегодняшних бегах. Этот разговор продолжался минут десять.

— Ага, — затем сказал он, — садитесь и записывайте.

Надежда Ивановна села за стол и молча взяла перо. Она испытывала тягостное ощущение человека, который сознательно делает то, чего не должен делать, и не может отказаться, не хватает для этого воли.

Антон Михайлович закрыл глаза, некоторое время помолчал и затем начал говорить тихими, отрывистыми фразами:

— Начинаются телефоны... Невнятно... Мне очень трудно выделить себя из этого, очень трудно... Я сделаю усилие... Мне хочется отвечать им...

Он продолжал таким образом с четверть часа, потом начал делать большие перерывы. Наконец он замолк, веки его плотно сомкнулись, и дыхание сделалось глубоким и медленным. Он заснул.

Надежда Ивановна положила перо, скрестила на груди руки и, сидя неподвижно, с тоской смотрела на него, боясь пошевельнуться.

Пробило одиннадцать часов. Сон его был не крепок. Он услышал бой часов, как бы продолжая еще находиться в полузабытьи. Он с вниманием рассматривал ее.

— Уже поздно, Антон Михайлович! — сказала Надежда Ивановна. — Скоро Нина Александровна придет.

Он встряхнулся и поднялся с дивана.

— Ах да, я сперва не мог понять, в чем дело. Теперь все понимаю. Ну что, кажется, наш опыт удался как нельзя лучше?

— У вас не болит голова? — спросила она.

— Нет, я привык. Давайте прочитаем.

Она прочитала ему.

— Отлично! Главное — достоверно, не подлежит сомнению.

— Вы скоро приметесь за работу?

— Хотел бы как можно скорее. Во-первых, мне надоело стремиться к этой ученой степени, которая, в сущности, мне не нужна и меня не интересует. Надо с этим покончить. А затем, эти наблюдения должны внести в нашу науку новый взгляд. Я думаю, что Семен Иванович позволит мне, как

еще выздоравливающему, с месяц не ходить в больницу, да и вообще я предпочел бы оставить больницу.

— Как? почему?

— Трудно работать при таких ужасных условиях. Трудно быть полезным!

— Но, по крайней мере, мы делаем все, что можем.

— Нет, далеко не все. Если бы у меня были большие средства, я, никого не спрашивая, срыл бы до основания этот рассадник нервных и душевных болезней, этот склад больных людей, вместо излечения заражающих друг друга безумием. Как? Душевнобольного человека, существо с болезненной впечатлительностью, для которого скрип двери, малейший звук представляется фактом чрезвычайной важности и роковым образом влияет на его психику, его держат в куче, в общей комнате, битком набитой, где каждый свободно проявляет свое безумие! Вы думаете, я был бы здесь с вами и говорил бы так здраво, если бы меня посадили туда, на эту Лысую гору своего рода? По всей вероятности, я никогда оттуда не вернулся бы. Да, я срыл бы до основания это почтенное здание и построил бы нечто новое, нечто совсем, совсем новое, где за больной душой ухаживали бы действительно как за больной, а не как за преступной; но у меня нет таких средств, у Нины тоже нет. Это потребовало бы миллионов! Поэтому надо ограничиться малым. Я хочу открыть у себя бесплатную амбулаторную лечебницу, исключительно для бедных. Прием должен быть целый день и ночь, а не так, как мы назна-

чаем на наших дощечках, которые приклеиваем на дверях: по понедельникам, мол, от девяти до десяти часов утра — для бедных бесплатно. Бедные люди, как и богатые, заболевают не по понедельникам только и не только от девяти до десяти утра, а постоянно.

Он развивал этот план с воодушевлением и как нечто выношенное в душе и глубоко прочувствованное.

Скоро раздался звонок в дверь, приехала из театра Нина Александровна, оживленная, взволнованная.

## 19

Зима приходила к концу. Последние числа февраля принесли с собой солнце, которое довольно часто появлялось на петербургском небе. Отдаленное влияние весны вливало в душу бодрость, и петербургские жители сбросили с себя унылый зимний вид; на лицах у всех играло выражение какой-то неопределенной надежды.

Уже больше недели Антон Михайлович сидел за своей книгой. Надежда Ивановна часто заходила к ним, и хотя находила его спокойным и ровным, тем не менее оставалась им недовольна. На лбу его появилась заботливая складка, и какое-то странное выражение затруднения было в его глазах.

О своей работе и прежде он вспоминал часто, и нередко принимался за нее, но его тянуло к развлечениям, к катанию, к скачкам, к другим ме-

нее невинным удовольствиям, и он работу откладывал, объясняя это тем, что, в сущности, он ничего не скажет нового, что Нина Александровна преувеличивает значение его будущей книги, и тому подобное.

Между тем, Нина Александровна верила, что эта работа сразу выдвинет его имя и вместе с тем принесет большую пользу науке.

В это время она получила из деревни известие, что тамошние дела требуют ее присутствия.

— Что ж, — сказал Антон Михайлович, — поезжай, малютка, ты проездишь не больше недели, а я это время буду сидеть за работой.

Он сказал это так просто и спокойно, что Нина Александровна поверила в возможность и безопасность оставить его одного. Дела действительно требовали, чтобы она решилась на это. Конечно, при других условиях, она предоставила бы им идти, как придется, но теперь в этом, по-видимому, не было необходимости. Она решила съездить в деревню.

Накануне отъезда она посетила Надежду Ивановну и Сторецкого. Надежда Ивановна удивилась ее решимости.

— На целую неделю? — спросила она.

— Да ведь он весь теперь ушел в свою работу! — ответила Нина Александровна. — Он привязался к своему кабинету. Я почти не вижу его эти дни.

Надежда Ивановна подумала, что она преувеличивает, но сказать ей этого не хотела. Она боялась разрушить ее уверенность и пробудить в ней

мнительность, которая отравила бы ей путешествие.

— Надеюсь, вы, Надежда Ивановна, изредка будете заезжать к нему? — промолвила Нина Александровна.

— О да, конечно. Я ведь теперь почти бездельничаю.

Нина Александровна собралась и уехала. Антон Михайлович еще больше прежнего погрузился в работу.

Когда на другой день Надежда Ивановна зашла к нему, он даже не сразу принял ее, а поздоровался с нею через дверь из кабинета и сказал:

— Голубушка, посидите минутку в гостиной; я докончу страницу.

Потом он вышел бодрый, оживленный.

— Значит, книга подвигается, Антон Михайлович? — спросила Надежда Ивановна.

— О да, на полном ходу.

— И вы довольны?

— Книгой пока доволен, но собой не совсем.

— Почему?

— А знаете, я как-то ожидал от себя больше. Мне мерещились более глубокая и остроумная аргументация и более важные выводы... И вот, странное ощущение, которое могло бы тоже послужить темой для интересной книги, — ощущение «потерянной мысли». Мне иногда кажется, что вот по этому или тому вопросу у меня в голове была уже мысль — важная, глубокая мысль, которая освещала предмет удивительно ярко, и я точно забыл ее. Но в голове осталась как будто тень, отзвук этой мысли... Вы это понимаете? Это

похоже на то, когда есть что-нибудь важное сказать приятелю, но в тот момент, когда надо, вы никак не можете припомнить. Словом, я не могу охарактеризовать это иначе, как — ощущение потерянной мысли.

— О, вы их еще найдете, эти мысли, они наверно придут.

— Я на это надеюсь. Мне кажется, что когда они вернутся, моя книга сразу осветится каким-то заревом...

И по выражению его глаз — ясному, безоблачному, было видно, что он действительно уверен, что эти «потерянные мысли» придут. Он спрашивал ее мельком про то, что делается в больнице, как поживают Сторецкий, Тетюшин, ездят ли они на бега. Она не успела ответить, как он уже прибавил:

— Если бы вы знали, как это в сущности далеко от меня теперь!

— А вы если б знали, как я этому рада! — сказала Надежда Ивановна.

— Ну да, мне известно, — прибавил он шутя, — мне известно, что для вас не было бы величайшего наслаждения, если бы я поступил в монастырь и принял схиму.

— Ну, едва ли это могло бы случиться. На это, кажется, нет никаких надежд.

— Отчего же? А знаете, у меня однажды было такое желание, и оно чуть было не осуществилось.

— У вас?

— Вообразите. Это было гораздо раньше встречи моей с Ниной. На меня нашло такое настроение. Я завел сношения с Афоном и уже чуть не

укладывал чемодан, чтобы ехать в Константинополь. Но это прошло. Поток жизни меня увлек. Однако, вы на меня не сердитесь, если я с вами попрощаюсь. Может быть, хотите чаю, так распорядитесь. Я сегодня в ударе и хочу воспользоваться этим.

Она, конечно, не рассердилась, но от чаю отказалась и уехала домой.

На следующий день она нашла его другим.

## 20

Она приехала раньше, и прислуга, отпиравшая ей двери, на вопрос, все ли благополучно, тихо сказала ей:

— Барин что-то не в духе... Почти даже не обедали! чуть только притронулись...

— Почему у вас темно?

— Они не велели зажигать.

У Надежды Ивановны сердце забилось тревогой. Она вошла в гостиную и с напряженным вниманием присматривалась к мебели, чтобы отыскать его. Он, очевидно, сидел где-то, потому что шагов не было слышно.

— Вы здесь, Антон Михайлович? — осторожно спросила она.

— Да, я здесь! — послышался в ответ его хмурый голос.

— У вас так темно, что ничего нельзя разглядеть.

— Велите, пожалуйста, зажечь что-нибудь. Только немного. Я не выношу ярких огней.

Горничная услышала это и внесла в гостиную свечу, затем стала зажигать лампы и в других комнатах.

Антон Михайлович сидел в углу, на маленьком диване, опершись локтем на стоявший около него круглый столик и закрыв лоб и глаза ладонью.

— Вы, кажется, не в духе?

Надежда Ивановна подошла к нему и протянула руку. Он лениво пожал ее и не ответил.

— Я вам мешаю?

— Да нечему мешать...

Он встал и, промелькнув мимо нее, начал шагать по комнате.

Она постояла с минуту, потом села на его место.

— Вы сегодня не работаете? — спросила она.

— Как видите...

Он продолжал ходить. Опять произошла пауза.

— Разве что-нибудь случилось? — вновь попробовала заговорить Надежда Ивановна.

— Что же могло случиться в этих стенах? Вы видите: потолки не провалились, картины висят на своих местах...

— Но почему же, в таком случае?..

— Что это, вы меня допрашиваете?

— Простите! — тихим, подавленным голосом промолвила она и замолчала.

Он ходил по комнате, и шаги его раздавались как-то мрачно и тревожно при тусклом свете одной свечки, пламя которой мигало от движения воздуха, которое он производил своей ходьбой.

Наконец она поднялась.

— Мне кажется... Я лучше уйду, Антон Михайлович, — нерешительно промолвила она.

Он слабо усмехнулся.

— Разумеется, скучно видеть перед собой такую мрачную фигуру! — промолвил он сквозь зубы.

— Не скучно, Антон Михайлович, но я боюсь, что досаждаю вам.

— Как вам угодно...

Он остановился у окна и глядел в него.

«Нет, я не должна уходить, — подумала Надежда Ивановна. — Я не должна оставлять его. У него зловещий вид».

Она сказала:

— Я не уйду, Антон Михайлович, но я не буду надоедать вам. Я посижу в столовой.

Она направилась к выходу.

— Вы хотите стеречь меня?

Она остановилась.

— Нет, не вас, а ваше настроение... Может быть, придет другое, и вы будете добрее ко мне! — с улыбкой сказала она.

— Я вовсе не к вам... — возразил Барвинский.

— А к кому же?

— К себе, к себе. Только к себе, ни к кому больше.

Она вернулась и приблизилась к нему.

— Что же вы сделали против себя?

— А, это говорить, значит — казнить себя. Впрочем, — прибавил он, — я ничего не сделал... Я ничего и не могу сделать. Да, я принялся за мою работу горячо, нетерпеливо. Я написал четвертую часть моей книги, это много! Я перечитал ее. Ничего не выходит. Ничего, ничего...

— Полноте, что вы?

— Да, выходит... Выходят страницы, на этих страницах — изложение фактов, — все в порядке; из фактов следуют выводы, и это тоже в порядке... Но все это так казенно, как солдатское учение, как попарно идущие пансионеры в церковь. Ничего нового, ничего оригинального, ничего глубокого, остроумного. Казенно, ординарно, как фельдфебель... Я чувствую, что тут вот должна родиться мысль — яркая, сильная, которая всему придаст особый интерес, все осветит новым светом, и она не рождается, а рождается какой-то недоносок, выкидыш, мертвец. Мой мозг тупеет. Эта проклятая болезнь действует на него, как мороз на живую ткань, пронизывая ее холодом; кровь застывает, и ткань становится мертвой. Это все равно как если бы вы, живая, присутствовали при том, как ваше тело, мало-помалу, превращается в камень.

— Вы преувеличиваете, Антон Михайлович!

— А, да, вам ничего не остается, как только сказать это! Но вы сами, как врач, очень хорошо знаете, что это так и должно быть. Вы знаете, что это периодически повторяющееся безумие не может проходить даром для мозга. Нельзя рассчитывать на быстроту ног, если вы каждый год ломаете их в разных местах. Как бы искусно ни починял их хирург, все же от них нельзя ждать выносливости и быстроты. Настанет момент, когда они совсем перестанут работать.

— Успокойтесь!

— Хорошо! Я успокоюсь, чтобы сделать вам удовольствие! — сказал он саркастически. — Ведь это очень просто: человек вне себя, добрые

знакомые попросили его: успокойся, и он, чтобы не обидеть добрых знакомых, взял да и успокоился. А успокоившись, я вам скажу, что пусть кто хочет возится с этой работой, я ее кончать не буду!

— Но это невозможно, Антон Михайлович!

— Как невозможно? К чему она? Одной бездарной книгой будет больше? Таких книг у нас без меня написано множество. Факты, факты, факты! А когда среди них появляется вывод, обобщение, смотришь — из-под новых якобы фактов выглядывает морщинистая кожа какой-нибудь старушки-доктрины, которая была молода в прошлом столетии. Не буду я писать эту книгу. Притом есть и еще одно препятствие...

— Какое?

— Не знаю, поймете ли вы...

— Скажите, я постараюсь.

— А то, что я уже здоров! — промолвил он, и его сверкающий взгляд скользнул по ее лицу.

— Я не понимаю! — сказала Надежда Ивановна, но неуверенно, потому что в голове ее уже мелькнула тревожная мысль.

— Не понимаете, а это так ясно... Уже натура тянет меня книзу, к земле. Меня тянет вон отсюда, на воздух, чтоб поток жизни захватил, захлестнул меня... Я готов принять в объятия и Тетюшина, и вступить в рыцари его ордена — глупого прожигания жизни. Меня тянет к кутежу, к пьяному разгулу, во мне кипят черные осадки... О, да вам и рассказать нельзя всего того, что во мне бушует в эту минуту. Я презираю все это, я знаю, насколько это все унижает меня, но я знаю, что при благоприятных обстоятельствах я не устою

и полечу, как бабочка на огонь. Я здоров, я здоров... Я предаю проклятию мое здоровье и в то же время жажду того, что́ оно может мне дать...Какая тут работа, какое служение, о котором я еще вчера так красноречиво мечтал! Ни на что это я не способен! Высокий ум жаждет прокатиться на тройке, поставить тысячный куш на бегах, стремится к забвению посредством вина, звона бокалов, к шуму плоских речей и глупого смеха, в объятия продажных женщин, к самому низкому разврату! Разве это не дикая шутка над человеком? Но я не могу больше бороться! Я не могу! Я разобью себе череп...

Он схватился за голову и крепко, что было силы, стиснул ее обеими руками. Надежда Ивановна слышала его глубокое и частое дыхание.

Она подошла к нему близко и положила ему на плечо дрожащую руку.

— Антон Михайлович! Может быть, вы один не в силах бороться с собой, но дружеская поддержка помогла бы вам...

Он мягко, но в то же время и решительно отвел ее руку, и лицо его искривилось ядовитой усмешкой.

— Знаем мы эту женскую поддержку! Знаем мы эту женскую дружбу!..

— Нет, вы не знаете, если так говорите... — тихо возразила она.

— Нет, я знаю. О, слишком хорошо знаю!

Он опять заходил по комнате и в это время говорил:

— Женская дружба! Женская поддержка! Вы поддерживаете падающего человека не для того,

чтобы поставить его на ноги, чтобы он потом шел своей дорогой, а только для того, чтобы он упал не один, а вместе с вами!

— О Боже!..

— Это так, так! У вас все на этом зиждется. Вы осуждаете падающего человека или жалеете его — это все равно, — когда он падает один или с другой женщиной; но если он падает вместе с вами, вы готовы возвести его падение в подвиг!

— Антон Михайлович!

— Позвольте! Что вы от меня хотите? — резко говорил он, и речь его прерывалась тяжелым дыханием. — Вы хотите любви? Я не люблю вас. Слышите ли, — я вам это говорю. Я не люблю вас, я не хочу вас любить! Я никого не люблю, я никого не хочу любить! Вы женщина, вы красивы, вы обольстительны, и за это я вас ненавижу...

Она опустилась в кресло и сидела неподвижно, с бледным лицом, а сердце ее билось медленно, точно собиралось остановиться.

А он не глядел на нее и говорил, говорил, словно задавшись целью забросать ее оскорблениями.

— Если сидит во мне зверь, и вы это хорошо знаете, то пусть бы он спал, — что вам до него?.. А вы ходите перед ним, вы мелькаете перед его глазами, дразните и маните его своими прелестями! Вам во что бы то ни стало надо разбудить его, раздразнить, чтобы глаза его засверкали диким огнем, чтобы он уже не владел собою, не знал удержу! Вам это надо, вам это необходимо, потому что вы без этого не можете прожить! Да, да, — продолжал он, еще более решительным тоном, — у вас все начинается с возвышенного, а кончает-

ся низким. Вы рабы ваших страстей, вашей похоти, — больше, чем мы... мы по крайней мере делаем это прямо и открыто; мы так и говорим, мы на это идем; а вы?.. Начиная с поклонения уму, подвижничеству, характеру, вы опутываете человека наркотическим дымом ваших прелестей и потом, когда у него закружится голова, охватываете его вашими цепкими руками и стаскиваете его вместе с собой в глубокую пропасть... и вы — то же, что и другие; у вас только личина покрепче, но я смотрю зорко, я проникаю сквозь нее взглядом и вижу под ней зверя со всеми его страстями.

Он остановился, потому что услышал прерывистый плач. Он взглянул на нее. Она сидела в кресле, вся наклонившись вперед, опустив голову на колени и закрыв лицо руками.

— Ну вот, вы плачете... — как-то рассеянно произнес он. — Зачем было приходить, если... Если я доставляю вам такие огорчения?

Она не отняла рук от лица, не подняла головы и глухо ответила:

— Нет, не то, не то...

Он подошел ближе и остановился перед нею.

— Перестаньте плакать! Эта ваша слабость, эти слезы, — они сильнее всякой силы...

Она подняла голову. Глаза ее были влажны от слез, плечи слегка вздрагивали.

— Зачем вам понадобилось это? — промолвила она.

— Что?

— Оскорбить меня... Меня, проникнутую такой бесконечной любовью к вам!..

Он весь вздрогнул, как бы от нервного удара и, очутившись совсем близко около нее, крепко схватил ее руку. Глаза его пылали каким-то странным огнем.

— К чему... К чему вы это сказали? — воскликнул он, видимо запинаясь, и голос его прервался. — Это слово дразнит... В этом слове есть что-то непобедимое...

— Успокойтесь! — промолвила она и со страхом отклонилась от него.

— А, теперь успокойтесь!.. Разбудят спящего человека выстрелом из пушки и потом поют ему колыбельную песню: спи...

— Что вы говорите? Я не понимаю!

— Я говорю, что я лгал, я все лгал. Неправда, что я вас ненавижу, неправда, что я хочу оскорбить вас, потому что я вас люблю! Вы прекрасны, вы обольстительны!.. Вы зажгли меня! Вы видите, вы чувствуете, как я весь горю страстью... Я вас уже не выпущу... Вы будете моей...

— Оставьте меня!

— Нет, я не оставлю... Вы сказали это слово... Вы проникнуты любовью, бесконечной любовью... Вы это сказали... Значит, вы моя... Моя... О, какое наслаждение, какое блаженство!..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Антон Михайлович стоял у окна, приложив свой горячий лоб к стеклу. Плечи его опустились, весь он как-то подался, съежился; лицо его выражало тупое отчаяние. Он молчал.

Прошло четверть часа томительного молчания. Она не замечала этого. Ей было не нужно, чтобы он говорил.

Но ему казалось, что это молчание для нее невыносимо. Он отвел лицо от стекла и полуобернулся в ее сторону.

— Вот видите, какой я подлец!.. — разбитым, хриплым голосом промолвил он.

Она вся вздрогнула и открыла глаза.

— Что? — каким-то смутным голосом произнесла она.

— Разве я могу сказать, что люблю вас? Разве я имел право? Я человек порыва, урагана... Это — самые негодные люди, такие, как я... Любовь требует упорства, усилия, постоянства. Да, когда я был болен, когда я был безумен, этого не могло случиться. А теперь я здоров... Я здоров... Если нужно, я прошу вас простить... Но это ведь глупо...

Он с минуту так стоял, повернув к ней лицо, как бы ожидая ответа на свои слова; но ответа не было. Тогда он опять приблизился к окну и приложил еще горевший лоб к холодному стеклу.

Прошло несколько минут. Надежда Ивановна поднялась и, не взглянув в его сторону, тихо пошла к выходу. Он слышал ее шаги и, может быть, понял ее намерение, но не пошевельнулся.

Она вышла в переднюю, сняла с вешалки кофту, неторопливо надела ее, потом калоши, шапку; а он все не двигался с места. Затем она повернула ключ у двери, вышла и стала тихо спускаться с лестницы.

## 21

Только на другой день с самого утра нервы дали себя знать. Надежда Ивановна не могла поднять головы, и в то время, как Строева давно уже встала, напилась чаю, накормила мальчика и прочитала газету, Надежда Ивановна еще оставалась в постели. Тяжелая голова ее лежала на подушке, а глаза были открыты.

Строева, находившая, что в одиннадцать часов спать уже стыдно, подняла в спальне штору и подошла к кровати.

— Давно пора вставать! — сказала она.

— Я не встану! — усталым голосом ответила Надежда Ивановна.

— Ты разве не здорова?

— Да, должно быть, я вчера простудилась.

— Эти странные петербуржцы отлично выносят мороз и вьюгу и простуживаются в теплый, почти весенний день.

— Да, это самое коварное время года! У меня, должно быть, инфлуэнца.

— Ты постарайся еще заснуть, а мы с Гришей будем вести себя тихо, — сказала Строева.

И не могла бы ничем доставить Надежде Ивановне большего удовольствия.

Они оба ушли в гостиную, притворили дверь, и Строева что-то читала мальчику почти шепотом. А Надежда Ивановна, чрезвычайно довольная, что ее оставили наедине с самой собой, начала обсуждать свое положение.

Она совсем не думала о себе, о том, как изменится теперь ее отношение к нему и к людям.

Она только как бы мельком почувствовала, что, несмотря ни на что, этот человек так же дорог ей сегодня, как и был, а может быть, и больше. Она представляла его только таким, каким он был тогда, накануне безумия. Быть может, только безумие и способно сделать человека великим, заставить разом отрешиться от всего, что составляет ежедневный обиход нашей жизни, от всех условностей, которые вырабатывались веками, результатом постоянного приспособления совести.

Он был таким, никто до него не был таким. Таких она встречала в книгах, но в жизни он был первый. Ничто, ничто не могло затмить в ее глазах тот светлый образ, в каком он предстал ей в тот день, когда она шла за ним, как покорная раба.

Теперь она думала о том, как ей быть, как исполнить свой долг перед Ниной Александровной, которой она обещала навещать его. О том, какие перемены должны возникнуть в их отношениях, ее и Нины Александровны, она теперь не могла думать. Это дело будущего. А теперь ведь он еще такой ненадежный.

И как ответ на все эти вопросы, ей в голову пришло решение. Она уже более часа лежала в одиночестве. В гостиной говорили шепотом. Она позвала:

— Ольга!

— Ты разве не уснула? — спросила Строева.

— Я проснулась, зайди ко мне.

Строева пришла в спальню.

— Тебе лучше?

— Немного лучше. Но я предпочитаю еще остаться в постели. Я хочу попросить тебя... Вчера Барвинский был дурно настроен и высказывал мрачные мысли.

— Ну и пусть его.

— Нет, так нельзя. Я обещала его жене... Но я не могу сегодня. Может быть, ты зашла бы к нему на полчаса и посмотрела бы, в каком он настроении.

— Ладно. Эх, вы, добровольные няньки! Но только нянчиться вы предпочитаете с бородатыми детьми.

— Кто же это — вы?

— Ну, да вот хоть вы обе — ты и его жена.

Строева оделась и поехала к Барвинскому. Антон Михайлович встретил ее несколько рассеянно, но любезно. Он только что вернулся с прогулки. Он гулял часа два пешком.

— Мы давно с вами не видались, — промолвил он. — Разве вы не ездили в Вильну?

— Нет, Надежда Ивановна задержала меня...

— А Надежда Ивановна, должно быть, в больницу поехала? — спросил он и при этом взглянул на нее исподлобья.

— Она нездорова.

— Правда?

— Да, вчера простудилась...

— Гм... Вот как! Это жаль. А я хотел поговорить с ней об одном деле.

— Она завтра, вероятно, встанет. Во всяком случае, если вы приедете завтра, то она примет вас; вы можете поговорить.

— Завтра я не смогу. Завтра жена приедет, я должен ее встретить и вообще быть с нею. Я получил от нее телеграмму. Она вернется раньше, чем думала.

— А разве дело спешное?

— Да, да... Пожалуй, что скорей спешное, чем нет. Впрочем, ничего... Как же вы поживаете? — вдруг переменил он разговор, и они проболтали с полчаса о Вильне, о тамошней больнице, о врачах.

Затем Строева простилась. Прощаясь, он больше ни слова не сказал о Надежде Ивановне и о своем деле.

Строева приехала домой часа в три и рассказала о своем разговоре с Барвинским.

Надежда Ивановна только переспросила:

— Она завтра приедет?

И получила подтверждение.

Но через полчаса после этого она встала и начала одеваться.

— Ты зачем это? — спросила ее Строева.

— Я поеду к нему.

— Ты с ума сошла! У тебя инфлуэнца. Ты это знаешь. И ты понимаешь, как это опасно.

— Пустое. У меня никакой инфлуэнцы нет. Это твоя фантазия. Я уже здорова.

— Вы все здесь превратились в неразумных детей.

— Ты слишком разумная, слишком взрослая.

— Не ходи, Надежда Ивановна.

— Нет, я поеду, я должна поехать.

— Почему должна?

— Потому что должна.

И они обе замолчали. Строева надулась. В последнем ответе она увидела намеренное желание быть с нею неоткровенной, и это обидело ее.

А Надежда Ивановна оделась, сказала ей: «До свидания», и ушла.

Ей казалось это совершенно необходимым не потому, что Барвинский выразил желание видеть ее, и не потому, что он сослался на какое-то дело — ведь она не слишком верила в это дело, — а главным образом потому, что он получил телеграмму от Нины Александровны.

Она была почти уверена, что этот разговор находится в связи с телеграммой и должен произойти до приезда Нины Александровны.

Вот почему, позабыв страшную головную боль и, может быть, в самом деле опасность простудиться, она, не раздумывая долго, отправилась к нему. Когда она вошла в переднюю, Барвинский выглянул из кабинета, и лицо его, до того времени хмурое, осветилось.

— Здравствуйте, здравствуйте! — промолвил он, и в голосе его слышалось удовольствие.

Она кивнула ему головой и вошла в кабинет.

— Вы гораздо лучше, чем я думал о вас, — промолвил он, здороваясь с нею.

— А думали вы обо мне очень дурно, конечно? — спросила она тоном шутки.

— Лучше, чем о ком бы то ни было, за исключением моей жены.

— Да, она лучше, чем мы с вами...

— О, это не подлежит сомнению.

Он стоял у стола, она опустилась на стул. Он сказал:

— Вы видите, я очень рад?

— Не моему приходу, конечно, а чему-нибудь другому.

— Да, другому, что доказывается вашим приходом.

— Ну, так объясните.

— А видите ли, если бы вы после моих глупых и злых слов, которые, впрочем, были искренни, не пришли или, что называется, порвали отношения, то это было бы пошло и весь этот наш... эпизод — приобрел бы характер пошлости. Я вчера поступил дурно, как мужчина, — прибавил он пониженным голосом, — и мог ожидать, что вы сегодня поступите дурно, как женщина. Но вы поступили, как человек. Вы пришли; позвольте поблагодарить вас.

Он протянул ей руку, она пожала ее.

— Да, — продолжал он, без особенного волнения прохаживаясь по комнате. — Конечно, наше достоинство разноумного существа требует, чтобы известная близость между мужчиной и женщиной обусловливалась наибольшей степенью нравственной близости. Это хорошо, это можно поставить идеалом, но если мы иногда, и очень часто — не достигаем этого идеала, поддаемся минутному настроению, сильному и искреннему, но не глубокому... то зачем же делать из этого роковой вопрос?

— Вы разве хотели *об этом* говорить? — с заметной строгостью спросила Надежда Ивановна.

— Нет, нет, не об этом. Но этого нельзя обойти. И это в последний раз у нас такой разговор. Видите ли, я еще не знаю и не могу с увереннос-

тью сказать вам, что со мной будет. Может быть, я еще попробую жить, а может быть и умру.

— Вы не имеете права.

— О праве не будем спорить; предоставим это юристам; я всю жизнь, за исключением в общей сложности дюжины дней, делал то, на что не имел права. Значит, если это сделаю, то не будет особого нарушения общей системы. Я не к тому; я говорю вот что. Если я изберу второй путь, то есть убью себя, что весьма возможно, так как у меня на это есть достаточно причин, то наш разговор потеряет силу; но в случае первого... Вот, я получил телеграмму от жены...

Он подошел к столу и показал лежавшую на нем телеграмму.

— Она должна была приехать позже, — продолжал он, — но дела так благоприятно сложились, что ей оставаться незачем. Она приедет завтра. Вы, может быть, не знаете, чем была для меня эта женщина и сколько я ей мук доставил. О, я в ее жизни играл роль кошмара. Но все же она, несмотря на все разочарования, склонна к оптимизму... ВЫ понимаете, о чем я говорю. Она уехала отсюда, веря и мне и вам, веря нам обоим. Ну, и вот, можно представить, что для нее составило бы разочарование в нас... не во мне и не в вас, а в нас обоих и в ее доверчивости к нам... Не знаю, удастся ли мне это, но я даю себе слово и повторяю его при вас — если останусь жить, никогда больше не оскорблять ее... Я хотел бы, чтобы эта новая эпоха в ее жизни не начиналась мрачным разочарованием. Поэтому я прошу вас, дайте слово себе и мне, что мы... Как бы это выразить?.. Что

мы забудем это... Что этого не было совсем, совсем не было, и что она ни из чего, ни из слов, ни из намеков, ни из взглядов не догадается, не подумает, не мелькнет у нее тени мысли, намекающей на то, что было между нами... Если я умру, мне до этого нет дела. Я не могу предвидеть характер будущих настроений и отношений; может быть, тогда это будет даже полезно. Словом, вы тогда свободны от этого обещания. Вы обещаете?

— Да, безусловно.

— Вот все... Больше ничего... И мы с этой минуты никогда не вернемся к этому разговору.

— Да, да... В котором часу завтра приедет Нина Александровна? — спросила Надежда Ивановна, очевидно таким образом переходя к другому разговору.

— В одиннадцать.

— Я приеду на вокзал встретить ее.

— Отлично! И потом будете завтракать с нами!

— Я согласна. Только надо бы в больницу заехать, — прибавила она. — Меня, кажется, оттуда скоро выгонят.

— Не велика беда. Если я останусь жить, у нас будет много работы. Я останусь не иначе, как под условием выполнить то, о чем мечты я высказывал вам. Если же я умру, вы сумеете поправить нашу репутацию. Да, да, я останусь жить только под условием, что окажусь способным к безупречности. Мне надоело быть слабым, мне надоело презирать себя. В первый же день, когда я почувствую, что темные силы овладевают мной и побеждают мое лучшее, мой дух, в тот же день я умру... Вы видите, я говорю это вам и только вам;

я никому этого больше не скажу, даже малютке. Это значит, что я очень ценю вас, и в самом деле я ценю вас очень высоко... Ах да, вообразите, что я всю эту ночь работал!

— Над книгой?

— Да, я написал, кажется, лучшие страницы. Удивительно, сколько противоречий таится в иной человеческой душе? Хотите, я вам прочитаю?

— С удовольствием.

Он прочитал ей то, что́ написал за ночь. Ей тоже показалось, что это лучшее из всего, что было в этой книге.

Весь остальной день после разговора с Барвинским у нее было недурное настроение. Чувствовалось нервное утомление, но оно не беспокоило ее; изредка только где-то в глубине души вдруг на мгновение промелькнет что-то острое, похожее на мимолетную боль. Она вздрогнет и тотчас же торопится отогнать от себя это минутное ощущение. Она рано в этот день легла спать.

## 22

Вечером, после того, как Надежда Ивановна ушла от Барвинского, к нему заезжали Сторецкий и Тетюшин, звали его прокатиться за город, ссылаясь на весеннюю погоду, но он наотрез отказался. Но они узнали, что завтра приедет Нина Александровна, и обещали явиться на вокзал.

Нина Александровна была удивлена столь торжественной встречей. Она, конечно, прежде все-

го заметила Антона Михайловича и засыпала его вопросами о здоровье, потом лицо ее осветилось новой улыбкой, когда она увидела Надежду Ивановну. Затем она пожала руку Сторецкому и Тетюшину, взглянув на последнего исподлобья. Присутствие этого человека всегда пробуждало в ней опасение, так как до сих пор встреча с ним для Антона Михайловича почти всегда кончалась попойкой.

Но она совершенно успокоилась, когда Сторецкий и Тетюшин, проводив их до экипажа, стали прощаться, торопясь в больницу на обход.

Нина Александровна рассказывала о деревенских делах, совершенно выпустив из виду, что Надежда Ивановна ничего в них не понимает и не может интересоваться ими. Ей казалось, что Надежда Ивановна вошла во все их интересы и сделалась как бы членом их семьи.

Она была оживлена. Лицо ее несколько похудело, но на щеках играл румянец.

Дома ждал их завтрак, а после завтрака Нина Александровна сказала:

— Я взяла на себя неприятное поручение, из-за которого должна съездить в гостиный. Дочь нашего управляющего готовится к какому-то балу, кто-то в соседстве выходит замуж. Просили купить и послать материю на платье.

— Я этому не препятствую! — сказал Барвинский. — Съезди, только не надолго.

— Но я так мало понимаю в этом.

— Еще бы! Ты сама, кажется, ничего, кроме серого и черного цветов, не признаешь.

— Может быть, Надежда Ивановна поможет мне?

Надежда Ивановна хотела сказать, что она понимает в тряпках не больше ее, но вдруг догадалась, что тряпки здесь ни при чем, что Нина Александровна хочет узнать от нее о том, как вел себя эти дни Антон Михайлович. Она сказала:

— Я охотно помогу вам... если смогу.

— Так съездимте вместе.

Надежда Ивановна согласилась.

— А меня оставляете в одиночестве? — промолвил Антон Михайлович.

Нина Александровна смутилась, но Барвинский поспешил успокоить ее:

— Нет, я шучу, поезжайте, только не засиживайтесь там. Я присяду за письменный стол. У меня кое-что шевелится в голове.

Дамы скоро собрались и уехали. С той минуты, как они остались вдвоем, сидя рядом в экипаже, Надежда Ивановна почувствовала, что для нее это не так легко — быть наедине с Ниной Александровной.

В последние дни до ее поездки натянутость, которая всегда прежде была между ними, исчезла. Но теперь явилось другое. То, что она должна таить от Нины Александровны, так близко касалось ее.

— Вы расскажите мне, каким он был! — сказала Нина Александровна, когда они ехали вместе.

— Он был неровен, — ответила Надежда Ивановна, — но думаю, что существенно тревожного ничего не было. Иногда я заставала его бодрым,

энергично работающим, но случалось видеть его мрачно настроенным. Он говорил тогда о заметных последствиях, какие оставляет болезнь на его умственных способностях, о потерянных мыслях, которые прежде были готовы в его голове, а теперь куда-то исчезли. Но потом, например, вчера, оказалось, что он работал всю ночь и написал прекрасные страницы. Он говорил часто о вас, о том, как виноват перед вами, как отравил вашу жизнь, и давал клятву никогда больше не оскорблять вас своим поведением.

— Всякий раз он дает себе эти клятвы, — сказала со вздохом Нина Александровна, и эти слова, и этот вздох заставили Надежду Ивановну опять с новой силой пережить острое мучение совести.

— Он говорил о том... О том, что, может быть, он перестанет жить.

— Это не ново... — с грустью сказала Нина Александровна. — Об этом он часто говорит.

— Нет, не только это. Он поставил это в зависимость от своего поведения относительно вас.

— Да?

— Да, он так сказал. Первая мысль о преступлении против вас для него будет лозунгом для смерти.

— Но это ужасно... Ведь я способна простить ему все! Разве он не знает?

— Он знает это. Но уже он сам оказывается неспособным прощать себе это.

— Нет, нет, его надо сбить с этой дороги. Конечно, это... такие факты... меня оскорбляют, как женщину, как жену его. Но разве я могу смотреть

на него, как на здорового человека? Слушайте... Вы имеете на него влияние. Я слишком много уступала и прощала ему, чтобы иметь на него какое-нибудь влияние. Разубедите его в этом, пусть он откажется от своего решения. Самое главное, чтобы он жил. Все остальное ничего не стоит...

— Теперь я уж не поеду к вам! — сказала Надежда Ивановна, выйдя из магазина. — Довезите меня домой. Ах да, вот что. Сегодня мы со Строевой собираемся свезти Гришу к его родным. Давайте назначим часы и встретимся там. Для вас это будет поводом привезти туда Антона Михайловича. Мы будем там часа в четыре.

— Это хорошо! — сказала Нина Александровна. — Кстати, я давно их не видала.

Она завезла Надежду Ивановну на Конюшенную, и тут они расстались.

— Ну, — сказал Антон Михайлович, когда она вернулась домой одна, — надеюсь, что Надежда Ивановна дала тебе подробный отчет о моем поведении.

— Почему ты так думаешь? — сильно смутившись, спросила она.

— Если бы я так до сих пор не думал, то стал бы думать, увидав твои глаза.

— Да, разумеется, она не могла же не поделиться со мной...

— Ну-ну-ну, дорогая малютка, — сказал он, взяв ее обе руки и поцеловав их. — Ты готова уже и по этому поводу страдать. Ты сделала страдание своей специальностью, впрочем, при моем благосклонном участии. Но неужели ты думаешь, что я не знаю о постоянном надзоре, сопро-

вождающем мою жизнь? знаю и признаю, что сам вызываю это, и ты права. При том же этот надзор меня не стесняет. Во-первых, он пассивен, а во-вторых, когда я нахожу, что эти тоненькие цепочки мне мешают, я очень легко и просто разрываю их.

— Ты много написал без меня? — спросила Нина Александровна, увидев на столе его работу, в которой было несколько свежих строк.

— Нет, не особенно много, а главное, не так хорошо, как хотелось. Я не оправдал собственных надежд...

— Ты наверно пристрастен. Ты слишком требователен к себе.

— Ну, не будем говорить об этом. Во всяком случае, если даже работа не удовлетворяет меня, то она, наверно, удовлетворит почтенное собрание ученых мужей, долженствующих возвысить мое имя посредством ученой степени. Я ручаюсь, что эта книга будет способна сделать тебя докторшей медицины.

Он обнял ее и поцеловал в щеку.

— Ты знаешь, — сказала Нина Александровна, — я не велела распрягать лошадей, мне хочется прокатиться с тобой.

— Я от этого в восторге. Сегодня много солнца.

Минут через десять они были уже в коляске. Небо было совершенно чистое, солнце плыло где-то по краям его, как будто опасливо обходя зенит, но все же лучи его давали достаточно тепла, чтобы не кутаться в воротник шубы; однако Нина Александровна не позволила мужу надеть пальто. Воздух был тих. В городе они ехали по гра-

нитной мостовой, так как снег уже был везде убран, но за городом пошла настоящая санная дорога. Глубокий, слегка подтаявший снег размягчился от тепла, и лошадям было тяжело ступать по нему. Поэтому Сергей повел их шагом.

Был уже четвертый час, когда Нина Александровна велела кучеру ехать в «пансион», как они в шутку называли его.

Маленький домик стоял особняком, при нем был небольшой палисадник и довольно большой двор, в котором помещался погреб и еще какие-то хозяйственные службы.

Антон Михайлович с видимым удовольствием осматривал дом. Даже те мрачные струи, которые он ощущал минутами в душе и которым не давал ходу, чтобы не огорчить Нину Александровну, как бы смирились в нем. Он тихонько пожимал руку жены и говорил: «Спасибо, малютка, спасибо. Я хотел бы почаще болеть, чтобы создавать такие маленькие дела...»

Но кто был в восторге, так это Строева. Привыкнув судить о людях по их делам, не умея совсем докапываться до правды по тонким движениям их души, она теперь вдруг сразу признала Нину Александровну. Оставшись наедине с Надеждой Ивановной, она тихонько говорила ей:

— Я вижу, что вы оба ее не стоите, этой женщины. О, не смотри так; я вижу, ты хочешь сказать, что это его влияние... Напрасно, мой друг! Он говорит только хорошие слова, а делает в то же время гадости, а добро делает она, только она.

— Но не она собрала этих людей из разных трущоб, а он! — возразила Надежда Ивановна.

— Нет, даже не он, а безумие... А когда безумие прошло, он и не подумал о них. А она не в безумии, а в здравом уме, без слов, тихо все это сделала...

Надежда Ивановна не спорила. Она хорошо знала от самой Нины Александровны, что без Антона Михайловича, без тех припадков безумия, которые, однако ж, так разумно и благотворно направляли его волю, Нина Александровна, будучи прекрасным человеком и обладая всеми теми идеальными стремлениями, какие у нее есть, просидела бы всю жизнь, не сделав ничего дельного.

Они пробыли в домике до сумерек, затем стали собираться домой. Грише было предложено на выбор — оставаться со своими или ехать к Надежде Ивановне. Он взглянул на Строеву, и глаза его наполнились слезами. Тогда Строева, больше не предлагая ему никакого выбора, взяла его за руку и повезла на Конюшенную. Он сильно привязался к ней, и она была этим тронута, но в то же время ее пугала мысль о том, что рано или поздно она должна уехать в Вильну и расстаться с мальчиком.

«Надежда Ивановна едва ли способна уделить ему много внимания, — думала Строева. — Ее душа поглощена совсем другим».

В коляске Антон Михайлович опять пожал жене руку и сказал:

— Спасибо, малютка!

— Это не мое, — ответила Нина Александровна, питая уже надежду завязать как-нибудь разговор, который ей был нужен.

— Как не твое? Не будь тебя и не будь у тебя доброй воли на это, эти господа попали бы снова в еще худшее положение, если бы им пришлось вернуться к прежним бедствиям.

— Может быть. Но если бы не ты, моя добрая воля спала бы глубоким сном.

— Э, малютка, это старая сказка. Женщины иногда бывают слишком скромны и любят все свое добро приписывать своему герою. Я твой герой, малютка, это не подлежит сомнению, хотя во мне так мало героического. Вот ты и отписываешь мне все свои добрые дела.

— Нет, нет, неправда, Антон. Я говорю вполне искренно. Я вовсе не считаю себя дурным человеком. Пожалуй, даже могу, не хвастаясь, назвать себя доброй, но доброта ничего не сто́ит, если она покоится в душе и ни в чем не проявляется... Ведь бывает, Антон, что добрая душа часто направляет свою добрую волю по самой скверной дороге... Ты был направителем моей воли.

— Ну хорошо, хорошо. Я принимаю эту незаслуженную честь. Я вообще готов принимать всякий почет, поскольку это доставляет тебе удовольствие. Ты можешь даже назвать этот домик «убежищем имени Антона Барвинского».

— Этого я не собираюсь делать, я никак не назову его.

— Нет, отчего же, назови, — говорил он шутя. — У меня странная роль. Обыкновенно такого рода честь достается человеку после смерти, а мне при жизни.

— Не надо говорить о смерти, когда есть из-за чего жить! — очень осторожно сказала Нина

Александровна и мельком бросила на его лицо контролирующий взгляд.

— А разве, малютка, действительно есть из-за чего жить? — спросил Антон Михайлович.

— Я думаю! Вот хоть бы из-за этого.

— Гм... Посвятить свою жизнь постройке домиков для бедных — это добродетельно!

— Ты шутишь над этим?

— Нет, малютка, я не шучу. И я говорю, что действительно хорошо тому, кто может быть удовлетворен таким прекрасным, хотя и скромным, делом, как постройка маленьких или больших домов для бедных. Но ведь я на это не гожусь.

— То есть ты не годишься для самой работы, но этого и не нужно. Работу беру я на себя.

— А я буду твоим тайным советником и камергером? Это хорошо! Тем больше, что тайные советники и камергеры получают хорошее жалованье.

Она улыбнулась его шутке.

— Нет, Антон, не шути так. Я говорю, что жить вообще есть из-за чего. Много, много есть на свете вещей, из-за которых стоит жить.

— Не всякому стоит, мой друг! Есть люди, пригодные на то или другое дело, и они, большей частью скромные люди, не задающиеся необъятною задачей, прикомандировывают себя к такому делу, к которому они пригодны, и тихонько делают его всю жизнь. Но есть такие стихийные люди, как вот я, которые, нося в себе, может быть, много сил, зависят все же не от себя, не от своей внутренней духовной сущности, а от посторонней силы, от направления ветра. Это не те, которых

называют флюгерами. Я не флюгер, я не поддамся маленькой перемене ветра, пустяковому повороту направления. Я не повернусь в ту сторону, куда он дует. Но сильный ветер, ураган может сдвинуть меня с места и заставить покатиться под гору. Такие люди, точно ледяные глыбы, способны лежать на месте долго-долго; незаметно подтаивая, они могут растаять совсем, никому не принеся ни пользы, ни вреда, но если буря сорвет эту глыбу с места, то она катится, бестолково раздавливая на своем пути и доброе, и злое с одинаковым усердием. Разве такие люди годятся на какое-нибудь скромное дело, хотя бы и такое хорошее, как постройка домиков для бедных? Они начнут строить дом для бедных, и вдруг в это время вихрь закрутит их на месте, и смотришь, помимо их воли, вместо дома для бедных, они устроили какой-нибудь вертеп разврата... Жить сто́ит, малютка, это правда, только не всем...

Он говорил это без горечи, без малейшего оттенка грусти, почти весело, и она боялась заговорить на свою тему ясно, чтобы не нарушить это настроение, которое позволяло ему даже о смерти говорить с улыбкой.

— Но, Антон, можно жить с пользой, самому не задаваясь широкими задачами. Можно жить для человека, для одного только человека, которого любишь, или, так или иначе, дорожишь им.

— Можно, можно, можно! Это я признаю. Например, мне жить для тебя!

— Да, да! — с живостью подхватила она, обрадовавшись, что он сам высказал то, к чему она никак не могла подойти. — А ты говоришь: жить

не сто́ит. Но разве тебе недостаточно жить для меня, если ты знаешь, что без тебя и я, и моя добрая воля, и то хорошее, что она иногда делает, кончатся.

— Вопрос поставлен серьезно, и вот что я тебе отвечу, малютка: я с восторгом принимаю обязательство жить для тебя! В самом деле, пора мне поквитаться с тобой.

— Я совсем не это говорю! — перебила она его.

— Ну, ты говоришь не это, а я говорю это. Но вся беда в том, что я не умею жить для тебя. Я хочу этого, и вдруг вижу, и всякий это видит, что я начинаю жить против тебя. А согласись, что если жить для тебя будет у меня единственным основанием жить, то тот момент, когда я увижу, что живу против тебя, должен быть для меня роковым моментом.

— Я помогу тебе жить для меня... Ты только пообещай, что, когда почувствуешь себя ослабевающим, ты призовешь меня на помощь.

— Пообещать? Я так это сделаю, без обещания. Я не люблю чувствовать на себе цепи обещания. Я и так надавал их уже много и ни одного не исполнил.

Уже стемнело, когда они приехали домой и сели обедать. В этот вечер Антон Михайлович не садился за работу; он посвятил его Нине Александровне. Давно она не помнила уже его таким нежным, как в тот вечер. Он не хотел отойти от нее, пожимал ей руки, гладил ее волосы и говорил нежные слова.

Потом наступили дни, в продолжение которых он, оставаясь ровным и ласковым с нею, казался

ей каким-то непроницаемым. Ей все мерещилось, что в глазах у него какая-то недосказанная мысль, и в сердце ее началась тревога.

Она началась недаром.

## 23

Как раз в эти дни Строеву вызвали в Вильну, и она уехала, оставив Надежде Ивановне Гришу, который совсем не хотел признавать ее. С мальчиком было много возни.

Уже дня четыре Надежда Ивановна не была у Барвинских. Она не особенно беспокоилась, потому что рассталась с ними под приятным впечатлением. Кроме того, она была уверена, что если бы случилось что-нибудь тревожное, Нина Александровна заехала бы к ней или написала бы.

Но, проводив Строеву и оставшись с мальчиком, который смотрел на нее волчонком, она захотела поговорить об этом с Барвинским.

Она застала дома только одну Нину Александровну. Она была бледна, и в глазах ее было выражение растерянности.

— Он поехал проездить новую лошадь! — сказала Нина Александровна. — Мы купили третьего дня...

— Разве он настолько уже здоров?

— Да, он здоров... Он, кажется, совсем уже здоров!

И слова эти она произнесла дрожащим голосом, за которым скрывались слезы.

— Вы очень расстроены, Нина Александровна! Разве он что-нибудь... Как-нибудь поступил? Что-нибудь сделал?

— Нет... Лучше бы он что-нибудь сделал. Самое дурное, самое низкое... Я все перенесла бы.

— Но что же? что же? — с тревогой спросила Надежда Ивановна.

Нина Александровна, держа ее за руку, усадила рядом с собой.

— Ничего не понимаю, но всего страшусь. Первое и самое ужасное, что он со мной откровенен. Когда он не говорит мне все, значит, у него есть нечто такое, чем он боится меня огорчить.

— Он не работает?

— Он, кажется, пробовал работать, но у него не выходит. Я слышала однажды, как после тишины, когда он, должно быть, сидел долго за столом, он вдруг швырнул тетрадь на пол... Скажите, вы знаете это, — правда ли, что болезнь оставляет пагубные следы на умственных способностях?

— Это правда, Нина Александровна, это неизбежно!

— Да, это страшно! Он так строг и требователен к себе. Когда он говорит со мной, я вижу, как он делает страшное усилие, чтобы побороть в себе какую-то внутреннюю работу и быть мягким со мной. Но неужели же он не знает, что я все это понимаю?

— Вы пробовали говорить с ним?

— Да, я спрашивала его, что с ним, что его тревожит?.. Он прикидывался удивленным: «С чего ты взяла? Меня ничто не тревожит, решительно

ничто». Но это было так сказано, что у меня кровь похолодела. Он переживает какой-то страшный кризис и молчит о нем, и именно потому молчит, что он страшный. Я не знаю, что мне делать. Я боюсь...

Надежда Ивановна видела, что ничем не может успокоить ее, и ей показалось, что лучше и не пробовать. То, чего Нина Александровна боялась, можно было назвать только страшным словом, которое, сколько бы его ни повторяли, всегда холодит кровь...

Она простилась и ушла, оставив Нину Александровну в такой же тревоге, как и застала. У нее самой явились мрачные предчувствия, и роковой исход казался ей неизбежным.

А Антон Михайлович вернулся домой вскоре после ее ухода; когда Нина Александровна сказала ему, что была Надежда Ивановна, он ответил:

— Ага! Что же, она уже работает в больнице?

— Да, она ездит туда.

— Ну, хорошо. По крайней мере не все отбились от рук.

— А ты не думаешь начать работу в больнице? — спросила Нина Александровна, у которой мелькнула надежда, что правильная работа может рассеять его тяжелое настроение.

— Нет, я не хочу! — отвечал он. — Я вообще ничего не хочу...

— Как ничего, Антон?

— Ничего такого, что можно бы одобрить. Ах, милый друг, это надо покончить!

— Что покончить?

— Все... Боже мой! — вдруг заговорил он неудержимо, как будто поток давно сдерживаемых слов наконец прорвался.

При этом он встал, быстро заходил по комнате и говорил, нервно жестикулируя:

— Боже мой! Я не могу понять, почему они возятся с такой дрянной душой, как эта, — и он ударил себя ладонью в грудь. — Нашли в грязи разбитый черепок, берут его, моют, вычищают точно драгоценность, а черепок-то был выброшен из дома, где была страшная болезнь и полон заразы. Что за охота вам? Что за охота?

Нина Александровна подошла к нему и остановила его, положив ему руку на плечо.

— Антон, полно! Не волнуйся так... Помнишь, ты... ты не дал мне обещания, но сказал, что все равно сделаешь это... Когда ты почувствуешь себя ослабевающим, ты призовешь меня на помощь.

— Да, если бы я был только ослабевающим! Но я совсем лишен сил! Я лежу в прахе перед этим черным чудовищем, перед моими гнусными влечениями. Пойми, Нина, пойми!.. Это проклятое здоровье, оно надвигается на меня! Дикие страсти, словно отдохнув во время моей болезни и набравшись сил, снова поднялись со дна этого грязного котла, который называется моей натурой... Но есть еще во мне слабый остаток безумия, и он помогает мне презирать себя за это. Не могу же я равнодушно смотреть на то, как на меня, разумное существо, напичканное всякими идеалами и высокими стремлениями, какая-то темная сила набрасывает аркан и тащит меня в помойную яму...

— Постой! Говори все, что ты чувствуешь, к чему тебя влечет, говори мне, как самому себе. Ведь я часть твоя!

— Да, часть, только лучшая, а потому ты и не поймешь меня. Ну хорошо, я скажу тебе. Я расскажу тебе свои ощущения по порядку. Слушай, но не говори, что я жесток: ты этого захотела. Ты моя жена, вложила в меня душу, ты существо безгрешное, чистое, святое! Для меня ты вся — подвиг, самоотвержение!.. Я это знаю и благодарен тебе бесконечно. Я должен был бы преклониться перед тобой и считать для себя блаженством полную близость с тобой, только с тобой, которая слилась со мной душой и телом! Но я не могу!.. Во мне кипит порочность, твоя чистота скучна моей проклятой натуре... Она может получить успокоение только среди шума диких и пьяных голосов, в разгуле оргии...

— О Боже мой!.. Опять, опять все то же!.. — воскликнула Нина Александровна и закрыла лицо руками, но затем, как бы спохватившись, быстро отдернула их и схватила его руку.

— Но это не все... Говори же мне все! Неужели есть еще худшее?

— Да... Ну, вот я, ослабевший, призываю тебя на помощь, а может быть, это уже поздно... Знаешь ли ты, что я уже виноват перед тобой? Уже, уже...

— Когда? Не может быть!.. Я была с тобой...

— Нет, оставим это... Я не хочу говорить об этом и не имею права... Да, теперь вот я, ослабевший, призываю тебя на помощь... Помоги мне...

Она молчала, пораженная его недоговоренным признанием. В сотый раз уже в жизни она переживала ту борьбу, которая всегда кончалась ее унижением. В ее груди подымался протест оскорбленной женщины, но навстречу ему шла беспредельная любовь к этому человеку, способная простить все, без конца. Это было и теперь. Она не понимала ясно, что произошло, но для нее не было сомнения, что произошло оскорбление. Но кто же, кто? Никто ей не рассказал ничего такого, что наводило бы на эту мысль. В ее отсутствие? Но Надежда Ивановна была с ним почти все время...

И вдруг это имя остановилось в ее голове, как будто какая-то невидимая рука густой черной краской подчеркнула его.

«Нет, не может быть! — говорила она себе. — Если бы это было, она не встретилась бы со мной так, как встретилась». А другой голос возражал в ее душе: «Все может быть... Нет такой низости, на какую не был бы способен человек...»

И она колебалась между этих двух голосов. А положение было таково, что нельзя было думать, сосредотачиваться, решать. Он повторил, подчеркивая:

— Я призываю тебя на помощь! Что ж ты не помогаешь мне? Я говорю тебе прямо: меня тянет к разгулу, во мне кипит эта мерзость. Мне хочется привести себя в то состояние, когда нравственные соображения исчезают, когда человек замирает и зверь подымает голову. Но в то же время человек еще возмущается во мне. Я не хочу

допустить себя до этой низости, и ты понимаешь, какой отсюда вывод.

«Надо спасти его, надо спасти его!» — эти слова, как гром, звучали в ее ушах и заглушали все другое. Она вновь заговорила, и в голосе ее уже не слышалось ни дрожи, ни слабости, ни подавленных слез. Перед ним стоял теперь сильный человек.

— И ты хорошо сделал, что призвал меня, Антон! Ты говоришь, что в твоей натуре проснулись страсти, которые неотразимо тянут тебя в пропасть, и ты сам не можешь пережить этой своей низости; но низость эта только против меня. В природе нет ни низкого, ни высокого. Все в ней совершается по ее вечным законам, это такая ничтожная мелочь в сравнении с человеческой жизнью! Так слушай же... Как бы низко ты ни пал, что́ бы ты ни сделал против меня, все равно это не оскорбит меня, я буду слепа к этому, я не увижу этого, я хочу видеть только тебя живым, рядом со мною!.. А! что такое женщина и требования женского самолюбия? Я убиваю ее в себе, во мне остается человек, и я тебя люблю, люблю в тебе человека, душу твою люблю, и она мне нужна, без нее я существовать не могу. Я тебе говорю, Антон, мой милый, не думай обо мне, делай, что хочешь, живи, как хочешь, но живи, только живи! Обещай мне это — что ты никогда добровольно не перестанешь жить.

Она охватила обеими руками его плечо и прильнула к нему лицом. А он стоял неподвижно, с мрачным взглядом, в котором ее сильные речи не вызвали ни малейшего просветления.

Прошла минута. Она подняла голову.

— Что же ты молчишь?

— Нет, ты не убедила меня, моя бедная малютка! То, что ты говоришь, софизмы, которые мы пускаем в ход — и я пускал их в ход не раз, — когда нам нечего больше сказать, когда нас прижали к стене. Они иногда сходят за настоящие доводы, но не тогда, когда человек пришел к ликвидации. Видишь ли, Нина, если бы ты сказала мне это несколькими днями позже, так, через неделю, через две, когда последние следы моей болезни оставят меня, когда я был бы совсем, совсем здоров, о, тогда я малодушно ухватился бы за эти слова, я сел бы верхом на этого доброго коня и помчался бы с веселой душою делать свои гнусности. Но теперь — я уже сказал тебе это, — теперь во мне еще сидит капля безумия, которая меня спасает.

— Спасает?

— Да, спасает... Она спасает меня от жизни... От низкой жизни...

— А я? я? Разве я могу остаться жить без тебя?

— Я этого вопроса не решал. Я решил только за себя...

— Значит, тебе нет до меня дела?

— Ах, Нина, как ты жестоко искушаешь меня! Бывают положения, которые можно выразить только двумя словами: «Не могу». И нет больше слов для выражения их. Вот и я *не могу*. А ты мне ставишь на пути преграды, перекладины, препятствия, стараясь, чтобы они были повыше, чтобы я не был в состоянии перешагнуть через них. Ты говоришь: я тебе позволяю быть низким и по-

шлым, но ведь, кроме тебя, есть еще я, и вот я не могу себе этого позволить! Что ж! это значит махнуть рукой на все святое и сознательно спуститься в ту грязную яму, в которую другие падают бессознательно, как отравленные мухи. И ведь это еще не все, милый мой друг, не все, может быть, и не главное! Смотри сюда!

Он взял ее за руку и повлек за собою к письменному столу.

— Ты видишь эту тетрадь? Я написал ее. Я перечитал ее внимательно. Это самая ординарная, посредственная работа, какую когда-либо создавал человеческий ум. Я знаю это. Это странное свойство моего ума. Он с каждым новым припадком болезни тупеет, но в нем как бы сохраняется воспоминание о лучших временах, когда это был светлый ум, острый и глубокий... Так в сказочных существах, волшебством превращенных в зверей из людей, сохраняется как бы смутное сознание, что они когда-то были людьми, и в то же время ими управляют все зверские наклонности. И это будет расти... Я слишком хорошо знаю это, потому что я врач, специалист. Я глубоко изучил свою болезнь, ее причины и последствия. Она будет повторяться все чаще и чаще, периоды здоровья будут все короче и короче, и всякий раз мой ум будет делаться все тяжелее и тупее, а кончится это или полным, уже безвозвратным безумием, или глубоким тупоумием. Хорошо еще если мне на долю достанется первое, но если второе... Что за ужас — жить, зная наверное, что главная основа твоего человеческого существа будет постоянно понижаться, испаряться из тебя, что

мозг, этот драгоценный источник всех высоких проявлений духа, будет деревенеть, и ты превратишься в идиота, в кретина и все-таки будешь жить и жить. Да, пожалуй, еще и тогда в нем останется это проклятое, ненавистное воспоминание о лучших днях! Зачем оно? Вот и теперь, если бы его не было, я написал бы бездарную книгу и, может быть, был бы в восторге и от нее, и от себя, как бывают в восторге от себя и от своих глупых книг тысячи бездарных авторов. Я был бы счастлив, если бы какой-нибудь волшебник ударил меня волшебным молотом по голове и разом выбил бы из меня воспоминание о лучших временах моего мозга, тогда я тупел бы спокойно и с каждым днем, с каждой новой каплей тупости чувствовал бы себя все счастливее... А, будет обо всем этом! Будет, моя малютка! Уходи, оставь меня одного.

— Я боюсь уйти, Антон!

— Нет, не бойся. Я ничего не сделаю... Клянусь тебе! Мы еще увидимся. Я стану думать... Чего доброго, еще твои доводы на меня повлияют! Я стану думать. Уходи, пожалуйста, уходи, друг мой! Клянусь тебе, что я буду думать о тебе, только о тебе.

Она покорно, машинально вышла в гостиную, опустилась в кресло и замерла без думы, без ощущения...

## 24

Обе двери, которые вели в кабинет из передней и гостиной, были плотно притворены. В кабинете глухо раздавались его энергичные шаги, по шагам этим было слышно, что в груди его кипела буря.

Нина Александровна долго сидела в кресле, опершись на спинку его и не переменяя позы. Так прошло, должно быть, более часу, хотя она не слышала, как били часы.

Затем, полная решимости, она встала, тихо, на цыпочках, вышла из гостиной и прошла в свою спальню. Там стоял маленький письменный столик, на нем лежали изящные листы почтовой бумаги. Она присела, взяла перо и начала писать:

«Многоуважаемый Григорий Игнатьевич! Если то, что я вам пишу, покажется диким и невероятным, все равно. Это так нужно. Я когда-нибудь потом объясню вам. Только поверьте мне, что это действительно нужно, необходимо, неизбежно. Я прошу вас о том, против чего всегда возмущалась, и уже в этом вы можете найти подтверждение, что это нужно. Антон Михайлович далеко еще не так здоров, как мы думаем. Я знаю лучше, чем вы и кто бы то ни было, его характер и его признаки здоровья. Я вам говорю это. Прошу вас, приезжайте к нам и — не удивляйтесь этому — возьмите с собой Тетюшина. Приезжайте вдвоем или еще с кем-нибудь, кто любит шумные удовольствия. Приезжайте и непременно уговорите его поехать с вами куда-нибудь, где шумно и весело, в одно из тех мест, где он любил прежде

проводить с вами время. Не удивляйтесь и не спрашивайте, почему я иду против себя. Не спрашивайте меня об этом и тогда, когда приедете к нам. Не спрашивайте и его ни о чем и не говорите ему, что это идет от меня. Вы недавно выразили мне сочувствие, и вот почему я обращаюсь к вам. Я теперь несчастнее, чем когда бы то ни было, и мне нужнее, чем тогда, сочувствие. Я скажу только, что делаю это из боязни, и основательной боязни, потерять его навсегда. Прошу вас, исполните это и говорите с ним так, как будто сами нечаянно приехали. Нина Барвинская».

Она наскоро прочитала письмо, вложила в конверт, надписала адрес Сторецкого и сама отнесла в кухню, приказав горничной сейчас же отослать его с посыльным.

Потом опять зашла в гостиную, чтобы убедиться, что шаги в кабинете опять раздаются по-прежнему. Странно, что это ее успокоило! Но ведь это значило, что он пока ничего не предпринял.

А время шло. Уже день близился к концу. На улице воздух потускнел, начались сумерки. Бегали люди с лестницами и зажигали фонари.

Она опять прислушалась к шагам в кабинете, они сделались медленнее и мягче. Она осталась на месте и слушала.

Вот он остановился, по ее расчетам, у окна. Она тревожилась. В простенке между двумя окнами висит на стене шкапик, где у него спрятаны разные флакончики, но чтобы открыть его, надо взять в ящике стола ключи — ключи будут звенеть, их несколько вместе.

Слух ее страшно напряжен; никакого движения, ни звука. Опять шаги — он обошел стол. Сердце у нее замерло от боли. Он нажал ручку двери в гостиную, приотворил дверь.

— Нина, ты здесь?

Голос его звучал просто и ясно, в нем слышалось какое-то успокоение. Она пошла в гостиную.

— Я здесь, Антон!

— Вели зажечь огни! Так скучно в полумраке!

— Сейчас зажгут!

Она быстро вернулась в столовую, захватила спички и пошла в кабинет.

— Ты сама зажжешь?

Он уже стоял около лампы и, сняв колпак и стекло, держал их в руках. Она зажгла спичку и лампу. Он водрузил стекло и колпак на место, потом положил ей руку на голову и погладил ее, как ребенка.

— Прости меня, моя бедная малютка...

У нее что-то дрогнуло внутри, слезы подступили к горлу. Она прижалась к нему и замерла от прилива надежды.

Он говорил:

— Хотя ты и не права, моя малютка, но ты так много любишь, а это больше, чем правота... Попробуем еще бороться... Ну, довольно, перестанем заниматься психологией и будем обедать, что ли... Мы, кажется, еще не обедали сегодня. Мы с тобой живем как-то вне времени и пространства. Да, я убедился, что я не только сумасшедший, но и порядочный психопат. Словечко опошленное, но оно отлично определяет некоторые неопреде-

лимые вещи! Сумасшедшего можно вылечить, психопата никогда.

Раздался звонок. Нина Александровна вся вздрогнула и побледнела.

— Что с тобой?

— Я сегодня так нервна. Я никого не ждала, и звонок испугал меня. Это, должно быть, письмо...

— Может быть.

Сторецкий вошел в столовую и чрезвычайно внимательно посмотрел на Нину Александровну, потом перевел взгляд на Барвинского и сказал, слегка комически декламируя:

— Что ты спишь, мужичок, ведь весна на дворе!.. Мы по тебе соскучились. В особенности Тетюшин, который считает вечер в Крестовском недосиженным и тамошнее вино недопитым.

Вошел и Тетюшин. Барвинский пожал ему руку.

— Мой друг! — сказал Тетюшин. — Мы на семейном совете с Григорием Игнатьевичем решили, что тебе вредно так долго мариноваться в семейном уксусе с легкой примесью прованского масла добродетели...

— Он иногда бывает красноречив! — заметил Барвинский.

— И замыслили, — продолжал Тетюшин, — ну, одним словом — помнишь ты то дивное винцо, которое почтенный метрдотель Крестовского сада держит только для избранных господ? Так вот, третьего дня я удостоверился, что оно, полежавши в погребе, стало еще выдержаннее и бойчее.

— В самом деле, отчего не прокатиться? — вставил со своей стороны Сторецкий.

— Нет, господа, я не поеду... Вы ведь знаете, что это мне вредно!.. — возразил Барвинский.

— Ну, мы скромно, совсем скромно! Никаких эксцессов.

— Это ты-то? — спросил Барвинский, взглянув на Тетюшина.

— Во всяком случае я позабочусь о том, чтобы это не приняло вредных размеров! — сказал Сторецкий.

Барвинский встал и начал ходить по комнате вдоль стола. Уже из этого было видно, что предложение далеко не оставило его равнодушным.

— Я не боюсь эксцессов, а просто это противно! — говорил он, а в глазах его уже появился тот блеск, который всегда появлялся, когда его тянуло к такого рода излишествам.

— Голубчик, но все может сделаться противным, ежели не в меру...

— Дадим себе слово к двенадцати часам быть дома! — сказал Сторецкий.

— Пожалуй, я готов поехать!

— Голубчик! — воскликнул Тетюшин и уже ринулся целовать его, но Барвинский остановил его жестом руки.

— Ну, не нежничай по поводу дурного дела! — И при этом его рот злобно скривился. Ему стоило больших усилий не разразиться злобной бурей. Он негодовал и на Тетюшина, и на себя. Но его тянуло ехать с ними. Он припоминал слова, сказанные Ниной Александровной, и теперь готов был ухватиться обеими руками за эти софизмы.

Он сам не смог бы определить свое душевное состояние, но только чувствовал, что в нем клокочет какой-то бешеный порыв, и было у него предчувствие, что из этого должно получиться что-то действительно страшное.

Сторецкий и Тетюшин поднялись, Сторецкий чувствовал нерешительность. Вид Барвинского не готовил ничего хорошего; он боялся, как бы поездка не напомнила ту, перед его болезнью, как бы эта неровность и порывистость не были предвестниками слишком быстрого наступления рецидива.

— Ну так едем! — с волнением сказал Барвинский. — Тогда уж поскорее! Нина! — кричал он, выйдя в переднюю. — Нина!

Нина Александровна услышала и выскочила в переднюю.

— Мы проедемся!

Она хотела что-то спросить, но у нее слова замерли в горле; руки ее дрожали, и она боялась поднять их.

— Надолго? — наконец дрожащим голосом произнесла она.

— Дали друг другу обет быть дома в двенадцать часов! — сказал Тетюшин.

— Я не давал такого обета! — сказал Барвинский и почти сурово посмотрел на него.

При этом он уже подошел к вешалке, снял шубу и начал надевать ее. Сторецкий уже оделся, а Тетюшин надевал калоши.

— Эка, как долго одевается шуба... Мне хочется поскорее выбраться на воздух! — с видимо сильным волнением говорил Барвинский.

В это время раздался звонок. Сторецкий, который стоял без дела, пошел к двери и отпер ее.

— А, вот кто! милый компаньон! — воскликнул он.

Вошла Надежда Ивановна. Она оглядела всю картину, дольше, чем на других, остановила взгляд на Нине Александровне, стоявшей в дверях с бледным лицом и неподвижными глазами, потом перевела взор на Барвинского и увидела, что он одевается, тогда как другие одеты и ждут его; она сразу поняла, куда он едет, но все-таки спросила:

— Куда это вы, господа?

— Кутить едем! — ответил Барвинский с едва заметной кривой усмешкой. — Не хотите ли с нами?

— Нет... — промолвила она, глядя на него в упор. — Вы не поедете, Антон Михайлович!

— Почему же? — спросил он, подняв брови.

— Вы не поедете, вы не должны ехать! Вы не имеете права ехать!

Рука его, которая должна была влезть в рукав шубы, вдруг остановилась. Он как-то весь успокоился, и даже блеск в его глазах потускнел.

— Это правда! Я не имею права ехать! — сказал он, и шуба упала с его плеч.

— Ты серьезно? — спросил ничего во всем этом не понимавший Тетюшин.

— Я не поеду! — повторил Барвинский и, не глядя на них и не подняв шубы, направился в кабинет.

Тетюшин развел руками.

— Так поедемте вдвоем, Григорий Игнатьевич! — сказал он.

— Поедем, только домой...

Сторецкий пожал руки Нине Александровне и Мальвинской. Тетюшин холодно сделал то же, и они вышли.

Нина Александровна перешла в столовую, Надежда Ивановна пришла к ней.

— Что это значит? — спросила она.

— Я не знаю... Я не знаю... — промолвила Нина Александровна и отвернулась.

Все ее тело конвульсивно вздрагивало.

— Может быть, я не должна была этого говорить?

— Как велика ваша власть над ним, — задыхающимся голосом промолвила Нина Александровна.

Надежда Ивановна широко раскрыла глаза — в ее тоне она услышала что-то новое.

«Неужели он ей сказал? Это невозможно! Это немыслимо!» — подумала она.

— Я вижу, что я что-то испортила. Но я ничего не знала... Я уйду, Нина Александровна!

Нина Александровна промолчала. Надежда Ивановна вышла из столовой, с минуту в нерешительности постояла в передней. Из кабинета не слышно было ни одного звука. Нина Александровна тоже не двигалась с места.

Тогда она вышла на лестницу и ушла вниз.

С глубоким недоумением в душе она шла домой; ноги ее ступали неохотно, и что-то останавливало ее и тянуло обратно, какое-то неясное

предчувствие чего-то грозного. Она дошла уже до своего дома и вдруг остановилась.

Словно невидимая сильная рука схватила ее за плечи и повернула обратно. Какое-то глубокое внутреннее сознание подгоняло ее, и она, повернув обратно, зашагала опять по направлению к Кирочной. Ей все казалось, что она непременно должна быть там, должна поспешить к чему-то, и ею уже овладевала боязнь опоздать, и сердце страшно билось.

## 25

Нина Александровна осталась в столовой, и на нее, после целого ряда испытаний и перемен, нашло какое-то безразличие. Она как будто пришла к сознанию, что ее слабые силы не в состоянии устранить ту роковую неизбежность, которая должна совершиться и непременно совершится.

В голове ее роилась мысль, что надо зайти к нему в кабинет, что теперь нельзя оставлять его одного, но ноги не двигались, и как бы в ответ на эту мысль все в ней говорило: «Все равно, все равно это свершится».

Она не могла определить, сколько времени простояла в столовой, но она была способна простоять так всю ночь. В ней ослабела, погасла воля для борьбы. Всякие действия казались ей бесполезными и ненужными. Вдруг она вздрогнула и повернула голову к двери. Ей послышалось:

— Нина! Иди сюда!

Это был его голос, и в нем слышалось что-то непонятное, какой-то новый оттенок, какого она в нем никогда еще в жизни не замечала. Она не знала, какой поворот в настроении мог означать этот оттенок.

Она пошла туда. Он выглянул из кабинета, чтобы позвать ее, и опять ушел туда; она вошла и смутными глазами осмотрела всю комнату и его самого.

Он был без пиджака, в рубахе, рукав которой на локте был подогнут выше локтя. Она старалась понять, но точно огромная масса мыслей столпилась у ее головы и каждая мешала другой войти туда. Какой-то туман стоял не перед глазами ее, а перед сознанием, и застилал перед нею такую ясную правду.

Он стоял неподалеку от нее и вытягивал руки кверху, как бы потягиваясь после сна, а затем промолвил недостаточно ясно, как будто что-то сдавливало ему горло:

— Нина, прощай!

Тогда только исчез туман, застилавший перед нею истину, и мысль о том, что́ совершилось, разом ворвалась в ее голову. Она вскрикнула и побежала к столу; тут было все, что могло сделать истину неопровержимой. Раскрытая склянка с белыми кристаллами, стакан с водой, блюдце, на дне которого оставался раствор, шприц с легким кровяным налетом на кончике иглы, — она пошатнулась, но, цепко ухватившись за угол стола, устояла.

— Антон! Ты... Ты сделал... Постой!..

Она ринулась к двери с какой-то неясной мыслью позвать кого-нибудь, может быть, доктора.

— Нет, Нина, не надо, не надо, голубка, не поможет!.. Я всыпал за четверых! — сказал он с усилием, как будто что-то мешало ему говорить. — Иди... попрощаемся...

Она остановилась, а на лице ее напечатлелось глубокое безысходное отчаяние. Она подошла к нему в тот момент, когда он, почуяв потерю сил, опускался на диван. Руки его были влажны. Он не промолвил ни слова.

Он только приложил свой горячий лоб к ее руке.

— Прощай, прощай! — еще довольно громко, но невнятно говорил он, судорожно сжимая ее руку... — Прощай!

— Я тоже умру! — промолвила Нина Александровна.

— Умри, голубка. Если не можешь...

— Зачем ты?..

— Не могу!..

Он говорил теперь сдавленным голосом, почти шепотом, который тоже давался ему с усилием.

— Сделай все хорошее... Все доброе, что не делали мы всю жизнь. Вот я теперь человек. Видишь, тело уже поражено, а дух еще жив... Голова свежа... Дух дольше живет, чем тело... Хоть две минуты бываешь человеком... Прости!..

Он задрожал всем телом и склонился к ней. Она, молча, блуждающей рукой гладила его волосы и руки, и лицо, слезы лились из ее глаз. Она чувствовала, что его уже нет с нею. Он уже не говорил, не дышал, но она все еще держала его хо-

лодеющую руку, а другой рукой нежно гладила его голову. Его смерть не погасила ее горячую любовь, только пламя ее не могло уже зажечь жизни в его холодном теле.

Послышался легкий шум в передней, кто-то вошел. То вернулась Надежда Ивановна. Тишина в доме поразила ее. Она бросила на пол шубу. Предчувствие в груди ее было так определенно и ясно, что она шла почти наверняка.

Полуотворенная дверь указала ей путь в кабинет. Она вошла, взглянула на них обоих, и какое-то сверхъестественное чувство подсказало ей всю правду.

Привычка врача подтолкнула ее дальше, она подбежала к нему, взяла его руку, приложила ухо к груди. Сердце уже не билось.

— Он умер! — прошептала она и теперь только взглянула на Нину Александровну.

Рука ее покрывала его волосы. Какое-то бесконечное спокойствие светилось в ее глазах. Ни отчаяния, ни горя, ни скорби не было у нее на лице.

Успокоение, безоблачность, ясный мир души сменили их.

Надежда Ивановна приложила его холодную руку к своим губам и поцеловала эту руку. И вдруг после мучительной тревоги, тяжелого предчувствия чего-то грозного и страшного, ей тоже стало легче.

Нина Александровна осторожно сняла руку с его головы и, поддерживая его за плечо, закрыла ему глаза, которые смотрели так спокойно и неподвижно. Потом они вдвоем положили его голову на подушку, подняли ноги на диван и долго,

долго стояли у изголовья, глядя на него, не проронив ни одного слова.

Первая заговорила Нина Александровна. И вид ее, и голос, и выражение лица были такие, как у человека, который наконец, после долгой и упорной борьбы, кончил все свои дела и может отдохнуть. Голос был несколько усталый, но ни малейшей растерянности, ни подавленности, ни отчаяния.

Она сказала, отойдя от дивана:

— Теперь что-то надо сделать... Я не знаю.

И в тоне ее голоса не слышалось никакого интереса к тому, что еще надо было сделать. Все, что ее интересовало, все, что привязывало ее к жизни, кончилось. Остальное только пустые формальности, и, конечно, их сделает кто-нибудь другой.

Надежда Ивановна поняла это и сказала:

— Я все соображу...

И тут же она решила освободить эту бедную женщину от всяких хлопот.

Нина Александровна пошла в гостиную, подошла к камину, взглянула на часы, потом вернулась в кабинет.

— Так вы все сделаете? все? — спросила она.

— Да, да, вы не беспокойтесь.

— Хорошо... Теперь десять с половиной... Я успею...

— Куда?

— Я сяду на поезд и поеду...

— Вы?

— Вас удивляет... Что мне здесь делать?..

— Хоронить его...

— *Его* я уже схоронила... Если вы не можете, я останусь.

— Нет, я все сделаю... Поезжайте.

— Я поеду сейчас... Слушайте, там, в спальне, в шкапчике, есть деньги на все, что нужно. Вот ключ.

Она уже стояла в дверях.

— А я сейчас поеду.

Она молча кивнула Надежде Ивановне и пошла к выходной двери.

— Вы... Вы придете? — спросила Надежда Ивановна, сбитая с толку ее странным образом действий.

— Да, потом... Тут еще есть дела, надо все устроить...

Она вышла, и дверь за нею захлопнулась. Надежда Ивановна прошла в спальню, написала короткую записку Сторецкому, приглашая его приехать сию минуту.

Затем она осталась в спальне. Сердце у нее колотилось страшно, и она сидела неподвижно, вздрагивая при малейшем шорохе в квартире и не замечая, как прошло время, и она не могла бы сказать, много ли его прошло. Она только с напряженным вниманием прислушивалась к стуку двери на лестнице и все ждала, чтоб приехал Сторецкий.

Наконец звонок заставил ее вскочить. Она выбежала в переднюю, а прислуге, вышедшей из кухни, сказала, что сама отопрет.

Щелкнула задвижка. Сторецкий стоял перед нею.

— Ну что еще? — спрашивал он.

Вместе с ним вошла и горничная, ездившая за ним.

— Ему худо? — спросил он.

— Очень худо! — ответила Надежда Ивановна и, чтобы как-нибудь услать горничную, сказала ей: — Подите разогрейте самовар!

Горничная ушла. Сторецкий снял пальто.

— Где он?

— Идите — сюда! — Она повела его в столовую. — Он умер! — промолвила она.

Сторецкий, пораженный неожиданным сообщением, подался от нее назад.

— Что?

— Он умер! — повторила Надежда Ивановна.

— Почему? С чего?

— Он отравился...

— Чем?

— Я не знаю. Я боюсь войти туда.

— А она где?

— Ах, потом все расскажу! Войдемте. Я тогда, когда вы уехали, ушла, но меня что-то тянуло. Я вернулась уже от самого своего дома. Пришла и застала его уже мертвым. Пойдемте же.

Они вошли в кабинет. Сторецкий взглянул на мгновение на лежавшего на диване Барвинского и покачал головой. Потом осмотрел стоявшую на столе баночку с кристаллами и шприц, понюхал оставшийся раствор в блюдце и сказал:

— По-видимому, он вкатил себе львиную порцию! Может быть, по ошибке?

— Нет, он давно говорил о смерти.

— Какая глупая история! Послушайте, это надо сделать как-нибудь иначе... Надо избежать этой несносной возни...

— Какой возни?

— Точно вы не знаете! Ведь протокол, вскрытие...

— Неужели?

— Ну как же! Ах да, позвольте! Спрячьте это!

Она спрятала в шкапчик баночку, блюдце и шприц.

— А это... это вам...

— Что?

— Письмо, должно быть...

Она порывистым движением схватила конверт, на котором было написано ее имя, и спрятала его в карман.

— Да где же она? — спрашивал Сторецкий, имея в виду Нину Александровну. — Без чувств, должно быть?

— Нет, она уехала.

— Куда?

— Просто уехала. Она странно сказала: «Его я уже схоронила».

— Однако напрасно вы ее отпустили. Я думаю, не в беспорядке ли у нее голова!

— О нет!

— Странная уверенность, когда она уезжает, оставив умершего мужа.

— Нет, не странная. Я ее понимаю вполне.

— Так верно, и у вас в голове тоже не особенно важный порядок.

— Нет, нет, я ее понимаю. Если бы вы знали, как она настрадалась. Она любила его совсем осо-

бенной любовью. Она любила его душу. И в этот момент, когда души не стало, в самом деле для нее было все кончено. Присутствовать при том, как в течение нескольких дней все стараются подтвердить и доказать то, что для нее больнее всего, что души его уже нет с нею, что она потеряла его навсегда, — это страшное истязание и совсем ненужное. Хоронить должны посторонние люди, а не те, кому покойник дорог...

— Пойдемте отсюда! — сказал Сторецкий, которому вдруг показалось неловким вести разговоры там, где лежит покойник.

Они перешли в гостиную.

— Ну, бросимте эту странную философию; я до философии не охотник, особенно при таких обстоятельствах! Вот что! Я все думаю о том, как бы нам избавиться от излишней канители. Вы хорошо сделали, сказав при прислуге, что ему худо. Теперь давайте я напишу рецепт, какой-нибудь, все равно, что-нибудь имеющее отношение к сердцу. Да, это будет хорошо. Принесите мне чернил.

Надежда Ивановна быстро сходила в спальню и принесла оттуда чернильницу и бумагу. Сторецкий написал рецепт, обозначив на нем, чтобы отпустили немедленно.

— Пойдите в кухню и пошлите в аптеку, да кстати, вскользь подтвердите, что ему худо, намекните на сердце. Экое глупое ощущение! Ведь умер он, действительно умер, не мы же его убили! мы только хотим избавиться от лишних и обидных хлопот, а чувствуешь себя так, будто тайком убиваешь человека! Идите.

Наконец, около двух часов ночи, прислуге объявили, что барин умер.

В два часа Сторецкий отправил в типографию газеты, где у него был знакомый управляющий, объявление о том, что «врач Антон Михайлович Барвинский скончался от паралича сердца», и назначил на утро панихиду, а на завтра похороны.

На другой день вся больница была поражена никем не жданным известием о смерти Барвинского. Сторецкий на минуту заехал туда, и Семен Иванович посмотрел на него подозрительно. Но он повел его в отдельную комнату.

— Что за паралич такой? откуда? — спросил Семен Иванович.

Сторецкий рассказал ему, как было дело.

В этот и на следующий день в больнице обход совершал Семен Иванович один, и то очень торопливо. Оставив дежурного врача, все остальные присутствовали на панихиде и потом на выносе тела, с которым, по-видимому, торопились.

Многие обратили внимание на то, что не видно Нины Александровны...

— Она страшно потрясена! — отвечали на это Сторецкий и Надежда Ивановна. — Она совсем лишена сил.

Часа в четыре Надежда Ивановна вернулась из Александро-Невской лавры, где похоронили Барвинского. Она утром забегала к себе домой, чтобы узнать, все ли в порядке. Она поручила Гришу Генриетте, и та, кажется, справлялась с мальчиком лучше, чем она сама.

Теперь она тоже проехала прямо домой и, узнав, что ничего важного не случилось, что Гри-

ша отобедал, поехала на Кирочную, куда назначили прийти со счетами всем, кто участвовал в похоронах. Ключ от шкапа в комнате Нины Александровны был у нее в кармане. Она нашла там денег гораздо больше, чем было надо, и расплатилась.

Затем ей оставалось еще войти в положение прислуги. Она разрешила им жить в квартире до приезда Нины Александровны.

Этим были кончены все хлопоты. Сторецкий в тот день вечером заезжал к ней и повторил ей, что в Петербурге только три человека знают истинную причину смерти Антона Михайловича — они и Семен Иванович, которому он считал своим долгом сказать.

— А четвертая Нина Александровна! — сказала Надежда Ивановна.

— Ну, я думаю, что она по дороге застряла где-нибудь в заведении для душевнобольных.

— Нет, она теперь совсем здорова. Неужели вы этого не понимаете?

— Да, я понимаю только то, что если она, прожив в этом сумбуре несколько лет, все-таки осталась с непомраченным сознанием, то у нее, должно быть, очень крепкая голова.

— Вы даже и теперь не изменяете вашему шутливому тону!

— Никогда не изменю ему. Я и умру шутя. В жизни нет ничего серьезного, мой друг. А кстати, скажите по совести, с нашим дорогим покойником у вас все-таки небольшой роман вышел, а? Так, знаете, начинающийся в тумане, а?..

— Я вам на этот вопрос не отвечу, Григорий Игнатьевич!

— А, значит, было что-то серьезное!

— И на это ничего не скажу.

— Не скажете? Ну, как хотите! До свидания! А этот волчонок и есть тот знаменитый мальчик, которого вы отстояли от нирваны? — прибавил он, взглянув на Гришу, который все время довольно злобно смотрел на него исподлобья. Он вообще на всех новых людей смотрел таким образом. — Смотрите, как бы он вас не скушал! у него такие глаза! До свидания!

## 26

Только когда кончились все надоедливые пустяки и Надежда Ивановна осталась одна сама с собой, она вспомнила, что в кармане у нее лежит письмо, взятое на столе у Барвинского. Она поспешно вынула его и стала читать. Он писал крупным торопливым почерком, не дописывая и сливая слова:

«Хорошо, что вы пришли и напомнили мне о моем человеческом достоинстве. Вы выбрали настоящий момент. Приди вы позже на пять минут, я уже покатился бы под гору, а там, должно быть, подоспело бы окончательное здоровье, и все пошло бы по-старому, по-гнусному... Вы пришли и сказали: “Memento mori”... Вы говорили другие слова, но для меня звучали эти, и я вспомнил о ней, о старой приятельнице, которая давным-давно зовет меня в свои мрачные чертоги. Тороп-

люсь, страшно тороплюсь. Оставляю вам две вещи: мою жену Нину и мой материал. Жена доставит вам немного хлопот. Поддержите ее только, пока кончится эта канитель с моим бренным телом, а потом она пойдет по моим следам. Я знаю это так же хорошо, как то, что я сейчас умру. Предположим, что она останется жить, это все равно, что утверждать, что я мог бы отрезать руку и умереть, а рука продолжала бы жить. Шприц уже напоен доброкачественным раствором, который шутить не любит и не изменит мне. Да, про второе: мой материал. Как это ни странно, а он мне до́рог, несмотря на то, что передо мной лежит шприц господина Праватца. Все-таки я думал о нем шесть лет, и, кроме того, в нем записано лучшее, что я пережил. Ну, довольно; я добросовестно пробовал написать свою книгу, но «мысли потеряны» — увы! — навсегда. Еще один рецидив — и, пожалуй, исчезнет о них воспоминание. Вы понимаете, что это значит: мысли потеряны? О, это ужасные потери самых огромных сокровищ. А за все остальное простите. Я сейчас умру. Даю вам в этом честное слово. Поддержите Нину. Б.»

И это было все.

Прошло три дня, в продолжение которых Надежда Ивановна почти никуда не выходила. Она переживала странное состояние, как человек, ограбленный в своем доме до нитки и потому не имеющий возможности выйти на улицу. Ей все казалось, «что ей не с чем выйти к людям». Когда она представляла себе, что присутствует на обходе в больнице или на дежурстве, то ей казалось, что

она не знает, что там делать: если бы ей пришлось остаться наедине со Сторецким, Тетюшиным, Кульковой, Семеном Ивановичем, она не знала бы, о чем говорить с ними. Все это ушло от нее как-то слишком далеко. Все сколько-нибудь общее между нею и остальным миром исчезло.

И она написала в больницу о своей болезни и сидела дома. Там сказали: «Свихнулась наша Надежда Ивановна!»

На четвертый день после похорон Барвинского Надежда Ивановна получила коротенькую записку от Нины Александровны: «Я приехала, и вы мне нужны».

И это было ново. Прежняя Нина Александровна не написала бы так; она прибавила бы тысячу осторожных извинений и оговорок по поводу того, что не заехала сама и проч. А теперь она пишет так лаконически и просто, как человек, признающий только самую суть дела.

Надежда Ивановна поехала к ней. Ее поразила какая-то особенная энергия и деловитость этой женщины.

Когда Надежда Ивановна передавала ей ключ от шкапика и стала объяснять, сколько все стоило и как было, она прервала ее:

— О, полно... Ведь это все равно.

Она не спросила ее ни о чем, относящемся до похорон, даже не поинтересовалась узнать, где он похоронен.

— У меня куча дел! Если вы мне поможете, я была бы вам очень благодарна.

— Что надо сделать? — спросила Надежда Ивановна.

— О, много, очень много. Вот видите, я съездила к себе в имение. Там управляющий — человек, знающий мои дела лучше, чем я. Он сделал мне подробный расчет, какое у меня состояние. Видите, у меня, кроме этого имения, есть еще и другое, а в Москве два небольших дома. Мы будем считать четыреста тысяч. Если не дойдет до этой суммы, то пополним из наличных. В банке еще есть несколько тысяч — пятнадцать или двадцать, наверно не знаю. Потом лошади, экипажи и другое имущество. Это наш капитал. А теперь расходы. У нас в Киеве и в Вильне были устроены такие же домики, как здесь, для бедных, которых он забирал к себе всякий раз перед болезнью. Они, правда, обеспечены, но недостаточно. Я хотела бы улучшить их положение и на это дать известную сумму; затем я знаю, что он делал долги, а отчасти и на добрые дела. В последний раз, накануне болезни, он тоже сделал долги. Их надо разыскать и уплатить. Наконец когда будет выяснена остающаяся сумма, тогда я желала бы на эти деньги устроить... Я не знаю, как это назвать... Такое учреждение, где помещались бы самые бедные люди, не те, что ходят по улицам и просят хлеба, а те, что сидят в грязных углах и лишены даже возможности просить. Вот в чем мне нужна ваша помощь. И еще в другом: вот материал, который он собирал для своей книги. Это было его желание, чтобы вы ее кончали. Я вам его передам и ассигную деньги на издание книги. Вот и скажите, что вы из всего этого можете взять на себя?

— Все, чего вы не можете...

— Ах, я... Я хотела бы только поскорее кончить все, потому что я тороплюсь, я страшно тороплюсь...

«Тороплюсь, я страшно тороплюсь!» — припомнилось Надежде Ивановне из письма Барвинского.

— Куда? — спросила она. — Вы переменяете место?

— Как? Ну да, конечно, переменяю место... Нет, лучше сказать — уступаю место...

— Что это значит?

— Я умру так же, как и он. Неужели вы думаете, что я могу теперь жить?

Она сказала это просто, без подчеркиваний, без всякого выражения, без того мрачного оттенка, с каким всегда говорят о смерти, и Надежде Ивановне после этого показалось, что в самом деле странно даже думать, что она может теперь жить. Она уже больше не пыталась возражать.

— Я возьму на себя все, от чего вы отказываетесь! — твердо сказала она.

— Да? — почти обрадовавшись, воскликнула Нина Александровна. — Вы, значит, меня понимаете; вы понимаете, какое для меня теперь было бы бремя жизнь. Я, значит, только дождусь, когда дела будут приведены в полный порядок, когда я могла бы передать их вам совсем. Как хорошо, что вы у меня есть. Не будь вас, как долго я должна была бы тащить на себе это бремя... Как хорошо, что вы с ним сблизились.

При этих словах Надежда Ивановна невольно вздрогнула. Может быть, виною этому была ее подозрительность, но ей показалось, что Нина Алек-

сандровна сказала это с намерением. И вдруг ею овладело странное желание как бы очиститься перед этой женщиной, которая, собираясь добровольно отказаться от жизни и всех ее благ, призвала ее на помощь и оказала ей столько доверия.

— Нина Александровна! Я все это исполню, я охотно возьму на себя все эти дела, но только тогда, когда отдам вам долг...

— Долг?

— Да, огромный долг, который тяготит меня. При жизни его я была связана обещанием, он взял с меня слово и сам дал его. Но я говорю вам прямо, что я не искала этого... Это был один из этих страшных вихрей, которые иногда овладевали им...

— Вы говорите о том, что было...

— Когда вы уезжали в деревню...

— А, да, я поняла... Оставимте это. Меня это не интересует... Не трогает и не касается. Да, он намекал мне. В ту минуту мною еще владели слабости женщины. Помните, я отвернулась от вас... Но теперь... Каким образом это теперь может занимать меня? Теперь, когда все кончено? Давайте говорить о нашем учреждении. Если бы я могла жить, я отдала бы ему все силы. Но я жить не могу. Чтобы служить ему, надо отдать всю душу, надо слиться с ним, надо отказаться от благ жизни, от личного счастья и всю свою личность, все свое личное счастье положить в нем, потому что надо соприкасаться с самой грязной грязью и вникать в души людей, озлобленных и испорченных неумолимой нищетой. Я хочу, чтобы это не было приютом, какие возвышаются своими красивы-

ми фасадами, стоят и ждут, что в них приведут случайно попавшихся бедняков... Надо ходить по грязным трущобам и вытаскивать оттуда самые жалкие отбросы общества и делать их людьми. Так делал он. Я хочу часть оставшейся суммы употребить на постройку такого дома или покупку его, если найдется готовый, а остальное на то, чтобы люди, поставленные в нем на ноги, могли получать возможность начать новую трудовую и самостоятельную жизнь. Не думайте, что я это выдумала. Это была его мечта в лучшие минуты его жизни. Я за всю свою жизнь не встречала ни одного человека, способного действительно отказаться от личного блага и отдать себя такому делу. Были люди, говорившие такие слова, но этого недостаточно. Вы не говорили таких слов, но вам я верю. И если вы мне скажете, что готовы взять все это на себя, я вам отдам все.

— Я говорю вам это от всей души!

— И я вам верю, я верю вам, как себе, как ему... Только умоляю вас, отпустите меня поскорей... Если бы вы знали, как мне тяжело жить, как мне пусто...

Когда Надежда Ивановна собралась уходить, то и Нина Александровна вышла с нею. Она объяснила:

— Ведь я не живу здесь. Я прихожу сюда на несколько часов, чтобы разбирать его бумаги и приводить их в порядок. Здесь так тяжело теперь... Без него...

## 27

Теперь проходили дни в работе.

Весна все больше и больше проступала сквозь суровые очертания петербургского неба, сани давно уже исчезли. Дни стали длинными, солнце светило ярко. В загородных местах начали деятельную работу деревья, медленно обраставшие зелеными листьями, работали и владельцы дач, приготовляя их к приезду столичных жильцов.

Надежда Ивановна не ездила в больницу. Она еще не сделала формального отказа от службы, но это предстояло в будущем. И там почти знали, что она больше не явится.

Сторецкий однажды заехал к ней и начал было в своем обычном шутливом тоне говорить о ее болезни.

— Какая же это болезнь, голубушка? Мне, как врачу, вы могли бы рассказать ее признаки!

— Вы их не поймете, все равно...

— Будто? Нет такой вещи на свете, которую я бы не понял. Но, по крайней мере, позвольте думать, что это болезнь не тела, а духа. Тело у вас на вид такое, что дай Бог всякому, только щечки похудели да побледнели. Да вот в глазах еще появилось такое выражение, словно вы месяца два сидели у нас в отделении буйных, а теперь перешли к выздоравливающим. Вижу, что покойный Антон Михайлович не все свое безумие по духовному завещанию отписал Нине Александровне, а часть его досталась и вам. Эх, эх! Прежде вы хоть улыбались мне, а теперь так смотрите, словно приняли схиму...

Так и ушел Сторецкий, не добившись от Надежды Ивановны откровенности... А у нее кипела работа. Ее письменный стол, перенесенный в спальню, весь был завален материалами, доставшимися ей от Барвинского.

Антон Михайлович успел написать все введение и, кроме того, еще для себя составил нечто в роде конспекта. Были и еще отрывочные замечания, которые дополняли ее сведения относительно плана книги. Остальное она дополняла, припоминая свои разговоры с ним.

Когда она тщательно разобрала весь материал, книга для нее сделалась совершенно ясной, и она принялась за работу. Может быть, никогда еще в жизни она не испытывала такого наслаждения. Каждая страница, написанная ею на основании его работы, была для нее как бы живой беседой, общением с ним. Вчитавшись в главы, написанные им, она удивительно усвоила его слог и манеры обращаться с доказательствами, и самый опытный глаз не отличил бы ее страниц от написанных им. Она ставила это себе в заслугу и гордилась этим, так как его способ изложения и манера обращаться с доказательствами были давно уже признаны блестящими по своей ясности и простоте.

Она торопилась с работой. Изредка виделась с Ниной Александровной, которая между другими делами всякий раз непременно осведомлялась о книге. Это был один из немногих предметов, которые ее интересовали.

Она сообщала Надежде Ивановне и о ходе своих дел. Часто приезжал в Петербург ее управля-

ющий, высокий старик с седой бородой, с очень крупными и серьезными чертами лица, чрезвычайно молчаливый. Он, по-видимому, не считал себя вправе вникать в сущность дел своей доверительницы, а старался точно выполнять их. Он знал, что в будущем ведать делами будет Надежда Ивановна, и потому, заявившись Нине Александровне, сейчас же торопился к ней и говорил с ней гораздо подробнее.

Больше месяца ушло на то, чтобы покончить с продажей имений и домов. Затем он с доверенностью от Нины Александровны ездил в Киев и Вильну и там устроил обеспечение основанных ею своеобразных приютов. Окончив все эти мелкие дела, он вместе с Ниной Александровной занялся приисканием подходящего дома для будущего учреждения.

Когда весна уже приходила к концу и майские дни иногда были жарки, как летом, она однажды с радостным, почти с каким-то торжественным чувством, дописала последнее слово и поставила последнюю точку, а на другой день после этого Семен Иванович был очень удивлен, когда в часы, проводимые им дома, незадолго перед обедом, ему подали карточку Надежды Ивановны Мальвинской. Он приказал тотчас просить ее, и она явилась с тремя толстыми тетрадями в руке. Он встретил ее приветливо.

— Матушка моя, так долго не видел вас, что думал, что вы забыли уже дорогу к нашей больнице. Искренно рад! Ужасно рад! Слышал, что вы нездоровы.

— Сперва нездорова, или, лучше сказать, нерасположена к работе, а потом была занята одним делом, с которым и к вам пришла.

— Вижу, вижу толстые тетради! и не могу догадаться, что в них. Ну, садитесь же.

Надежда Ивановна села и тотчас же приступила к объяснению.

— Вот в чем дело, Семен Иванович, — сказала она. — Вам, может быть, известно, что покойный Барвинский готовил диссертацию?

— Как же. Очень даже известно. Он подробно говорил о ней, и не раз... И я очень интересовался этой книгой. У него был богатый материал, и я на днях еще спрашивал Григория Игнатьевича, куда все это девалось.

— Все это было у меня. При жизни его мы с ним говорили об этой книге, он читал мне выдержки из нее. Но он вполне закончил только половину, а остальное написал лишь вчерне, выразив волю, чтобы я привела его черновую работу в порядок, обработала ее и издала. Таким образом рукопись и материал перешли ко мне, я все это время и работала над ней...

— А, так вот чем объясняется столь долгое ваше непоявление в больнице!

— Отчасти это, да еще и то, Семен Иванович, что я, по всей вероятности, совсем оставлю эту деятельность.

— Как так? Что же вы собираетесь делать? Может быть, выходите замуж? Иногда женщины-врачи, выходя замуж, сходят со сцены, как артистки.

— Нет, я замуж не выхожу — буду работать... Стоять во главе одного учреждения... Но я не могу сказать вам точно, потому что оно не устроено еще.

— А, ну хорошо! Если не можете, так я буду скромен! Ну, что же дальше насчет рукописи?

— Я ее окончила, то есть черновую привела в беловой вид. Но так как мне приходилось иметь дело с некоторыми недописками, а также я могла иногда неверно понять его, то я не могу решиться выпустить книгу в свет, не получив от лица компетентного подтверждения, что она составлена вполне научно и что в ней нет ошибок.

— И вы избрали меня? Благодарю вас за честь! Давайте рукопись, я за нее сейчас же засяду и все свободные часы отдам ей! Вы знаете, какого я высокого мнения был об его уме и таланте! Это был мой любимец! Я думаю, что дней через пять-шесть я вам возвращу работу.

— Я зайду к вам.

— Да, да. И мы опять поговорим, если что встретится.

Надежда Ивановна ушла, а Семен Иванович сообщил врачам больницы о том, что она уже больше не вернется. Начались всевозможные догадки, но никто не мог ничего сказать верного.

А в это время произошел важный шаг в главном деле, которое заботило обеих женщин. Нина Александровна прислала записку, в которой сообщала, что они с управляющим приискали дом чрезвычайно подходящий и почти окончательно остановились на нем. Последний решающий голос они предоставили ей. Ее звали смотреть дом.

Прошли установленные пять дней. Надежда Ивановна поехала к Семену Ивановичу. Он уже ждал ее.

— Хорошая, дельная работа, отличная работа. У него своеобразные взгляды, но он их хорошо доказывает. С ним можно не соглашаться по существу, но нельзя отказать ему в блестящей аргументации. Об этой книге заговорят, ее бы надо одновременно издать и по-немецки, тогда и там бы о ней заговорили. А вы отлично восстановили его черновую рукопись! Нельзя отличить, где собственно начинается ваша работа! Один и тот же стиль. Его блестящий стиль! Печатайте с Богом! А когда будет готово, мне экземплярчик пришлите, да и для больничной библиотеки тоже.

Надежда Ивановна пообещала. Больше всего ее обрадовал отзыв о стиле. Это было то, чего она добивалась и о чем мечтала. Значит, она достигла цели.

Теперь она сдала рукопись в печать и погрузилась в корректуру, и это она делала с удивительной тщательностью. Ей хотелось, чтобы книга была издана образцово, тем более, что средства для этого были не ограничены. Она сама выбирала бумагу, формат, обертку. Она очень торопила типографию, и вот через две недели книга уже была готова.

С каким торжеством взяла она в руки экземпляр и прочитала на обертке ниже заглавия: «Посмертное сочинение врача Антона Михайловича Барвинского».

Она послала книгу и Нине Александровне. Та приехала к ней, и видно было, что это обстоятельство ее несколько оживило.

— Я прочитала ее от первого слова до последнего! Ничего я в этой науке не понимаю, но я хорошо знаю его манеру писать. Вы удивительно схватили ее. Да, из того, как вы совершили это первое дело, я вижу, что и другое, большее, оставляю в хороших руках.

К середине лета отделка дома была совершенно окончена. Надежда Ивановна вместе с Ниной Александровной осматривали просторное, светлое помещение и находили, что все построено образцово. Затем они провели несколько часов у нотариуса. Учреждение было обеспечено достаточной суммой на вечные времена, и единственной полной распорядительницей его была сделана Надежда Ивановна Мальвинская. Нина Александровна крепко пожала ей руку, и во взгляде ее светилась глубокая благодарность.

— Теперь мне стало легко! — сказала она.

— Мы еще увидимся... Вы приедете посмотреть наше учреждение, когда оно будет на полном ходу? — спросила Надежда Ивановна, не решавшаяся прямо задать ей вопрос о том, что она теперь намерена делать.

— Да... Должно быть... Я теперь уеду... Может быть, рассеюсь...

Это было сказано как-то поверхностно, как заученные слова. Они расстались.

А на другой день старый управляющий прилетел к Надежде Ивановне встревоженный. Он только что был в гостинице, где остановилась

Нина Александровна, и там узнал страшные вещи. Надежда Ивановна поехала туда; там уже толпился народ и вошла в свои права полиция.

Нина Александровна сидела в кресле, одетая в свое обычное темное платье, а на столе стояла склянка с белыми кристаллами и лежал шприц. Надежда Ивановна узнала их. Это были те самые, которые она, по совету Сторецкого, убрала в стенной шкапик в ту ночь, когда умер Антон Михайлович. Было уже слишком поздно, чтобы думать о каких-нибудь мерах спасения. Нина Александровна была мертва.

На столе лежал листок бумаги с лаконической запиской: «Я сама добровольно лишила себя жизни. Нина Барвинская». И больше никаких писем нигде не нашлось.

## 28

Прошло больше года. Жизнь шла своим чередом. Во врачебном мире все сталкивались и встречались то на консилиумах, то на заседаниях ученых обществ, то на торжественных обедах и ужинах, то на скачках, то в семейных домах, где они играли в винт, в ландскнехт, то на дружеских пикниках и попойках, а Надежда Ивановна Мальвинская нигде не бывала.

Изредка только кому-нибудь случалось видеть ее, когда она в своеобразном экипаже, каких в городе не встречается, приезжала туда по делам. Она узнавала знакомых и с приветливой улыбкой

отвечала на поклоны, но она всегда торопилась, и ей некогда было вступать в разговоры.

И тогда тот, кому удавалось встретить ее, непременно сообщал об этом в больнице или в обществе.

— Нет никакой возможности признать в ней прежнюю Мальвинскую! — говорили они. — Помните эти веселые, слегка недоумевающие глаза? Помните эти розовые щеки, эту белую, изящную шейку, эту неудержимую смешливость и звонкий, искренний смех? Теперь в лице у нее что-то строгое, как у монахини, давшей обет отрешиться от всего земного, а взгляд... Этот странный взгляд, как бы скользящий поверх предмета, на который она смотрит... в нем есть что-то безумное.

— У нее всегда была наклонность к безумию! Вспомните ее странную историю с Барвинским! Она и свихнулась именно в тот период, когда он в последний раз сошел с ума.

Таковы были мнения тех кругов, где в прежнее время можно было встретить Мальвинскую. И вот, когда прошло уже больше года с тех пор, как в большом загородном доме началась деятельность, однажды к больнице, где прежде работала Мальвинская, подъехала на извозчике дама с довольно большим саквояжем в руках. Она прошла через дверь, оставив дорожный саквояж в пролетке, и спросила швейцара, где живет доктор Сторецкий. Ей указали. Она отыскала квартиру и позвонила. Ее впустили; она вошла в гостиную, и к ней вышел Григорий Игнатьевич.

— Батюшки, Ольга Сергеевна! сколько лет! сколько зим! Ах, Боже мой! как вы изменились! Вы были больны?

Строева не отвечала на эти вопросы; она села по приглашению хозяина и сказала:

— Объясните, ради Бога, куда девалась моя Надежда Ивановна? Год тому назад она писала мне о смерти Барвинского, потом еще раз о смерти его жены и о каких-то своих планах. С тех пор она мне ничего не писала. Где же она?

Сторецкий рассказал ей все, что знал про Надежду Ивановну.

— Вы видели ее? — спросила Строева.

— Случайно, но не часто.

— Что же вы нашли?

— Ничего приятного. Вы сами увидите это в ее глазах.

— И вы объясняете теперешний род ее жизни?..

— Некоторым видом безумия! Нам с серебрящимися висками с просветами на макушке под стать провести черту под своей жизнью и, пожалуй, отдать остаток своих дней какому-то доброму делу, да и то, голубушка, мы не сдаемся, а тянет нас до самых седых волос к радостям жизни. А скомкать таким образом свою молодость, да еще такую блестящую, такую богатую дарами природы, хотя бы для высокого дела, безумие, безумие! Жаль мне бедную Надежду Ивановну. Поезжайте туда, сами увидите!

Строева взяла адрес и поехала. Она увидела обширный дом и примыкавший к нему едва устроенный молодой сад, радостно и шумно оживлен-

ные десятками людей, которые возились во дворе и в саду с лопатами, граблями и ведрами, раскапывали и выравнивали гряды, окапывали деревья и поливали цветы и овощи. Тут были старые и молодые мужчины, и женщины, и дети.

Строева вошла во двор и спросила Надежду Ивановну Мальвинскую. Ей указали по направлению к саду. Она оставила свой сак на ступеньке крыльца, которое вело в дом, и пошла по указанию.

Среди пестрой толпы незнакомых лиц, погруженных в работу, ей показалось, что она видит и узнает стройную женщину, в темном платье и с легким платком на плечах. Сердце у нее забилось сильно. Она пошла к ней.

Молодая женщина с бледным лицом обернулась к ней и глядела с выражением не то изумления, не то радости. Рядом с нею стоял, охватив ее талию рукою, смуглолицый мальчик в темно-серой блузе с ременным поясом.

— Ольга! — воскликнула Надежда Ивановна. — Ты нашла меня.

Они обнялись.

— Почему ты не писала мне? — спросила Строева.

— Я видела по твоим письмам, что ты не поймешь... Но ты изменилась, бедная моя! Ты перенесла какое-то горе!

— Да, и оно казалось мне огромным, страшным, но когда я узнала, среди какого горя ты проводишь жизнь, оно показалось мне шуткой.

— Мой друг, здесь нет горя. Мы приводим сюда людей, окутанных горем, но здесь мы снимаем с них эти ядовитые покровы, излечиваем раны, и с

нами они уже становятся счастливыми! А твое горе, Ольга? Оно было личное горе?

— Да... Но и вообще... Я разочаровалась в здоровых людях... О, как они бездушны, эти счастливые, награжденные всеми дарами природы!... Я пришла к тебе! Тебя ведь называют безумной. Так зарази же меня своим безумием! Я хочу остаться с тобой... А это... Неужели это Гриша? — спросила Строева, приблизилась к мальчику и поцеловала его.

— Да! мой славный мальчик, он признал меня наконец. Он теперь учится. Он во всем помогает мне. Он лучше, чем я, понимает душу этих людей. Он сам был когда-то там, в этой яме. И я знаю, кому оставлю со временем все это дело, когда у меня не будет уже сил...

Игнатий Николаевич Потапенко

# Светлый луч

Оформление серии *И. Беляевой*
Дизайн *В. Ерофеева*
Верстка *С. Чорненького*
Корректор *О. Водовозова*

Подписано в печать 08.05.08. Формат 84×108 1/32
Доп. тираж 5000 экз. Заказ № 2540.

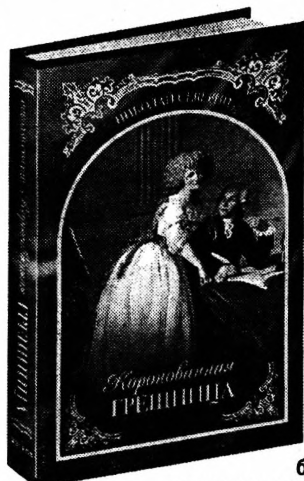
Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93,
том 2; 953000 — книги, брошюры

ЗАО «Издательский дом «Гелеос»
115093, Москва, Партийный переулок, 1
Тел.: (495) 785-0239. Тел./факс: (495) 951-8972
www.geleos.ru

ЗАО «Читатель»
115093, Москва, Партийный переулок, 1
Тел.: (495) 785-0239. Тел./факс: (495) 951-8972

ООО «Нью Лайн Продакшн»
115093, Москва, Партийный переулок, 1
Тел.: (495) 785-0239. Тел./факс: (495) 951-8972

Отпечатано в ОАО «Рыбинский Дом печати»
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.

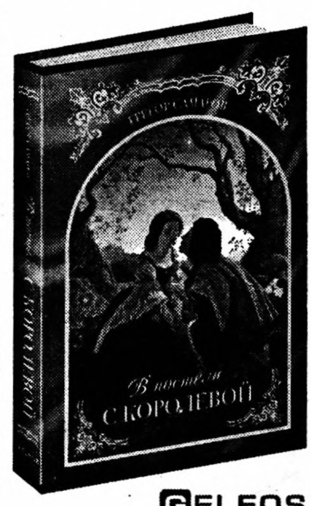



Красивая и видная, с живым и легким характером, младшая дочь Петра I, Елизавета Петровна, не слишком обременяла себя соблюдением моральных норм своего времени. Царевна всецело отдалась вихрю удовольствий и любовных приключений, пока Меншиков и князья Долгорукие дрались за власть. Она подружилась с юным императором, своим племянником, проводившим время в увеселениях и недетских забавах, и окружила себя «милыми дружками». Красавца графа Александра Бутурлина сменил блестящий молодой офицер Алексей Шубин. Не успел последний получить отставку, как Елизавета уже увлеклась сыном простого казака Алексеем Розумом, покорившим цесаревну божественным голосом. Равнодушная к политике и дворцовым интригам, она беспечно проводит время на балах и в будуаре, но преданные ей люди уже составили заговор, чтобы возвести на престол законную наследницу Петра.

Два провинциальных идальго из обедневших семей покидают родные края в надежде обрести счастье в столице при дворе Карлоса IV. Фортуна, эта капризная богиня, идет им навстречу семимильными шагами. Буквально через несколько дней оба друга становятся гвардейцами короля, обладателями шикарных мундиров, отменных лошадей и туго набитых кошельков.

Каждый из этих даров судьбы может поднять на вершину блаженства, но может скрывать под блестящим покровом кинжал, тюрьму и даже топор палача.

Какую услугу потребуют тайные покровители от неискушенных молодых людей за внезапно свалившиеся блага? Какую цену придется заплатить за их дружбу и любовь?




GELEOS

## ЛУЧШАЯ СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ РОМАНОВ

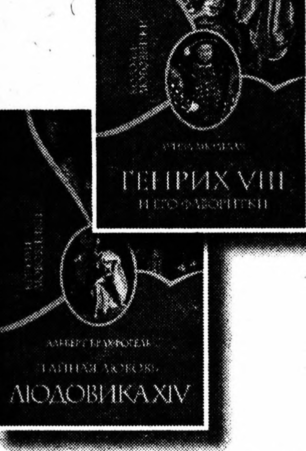
# КОРОЛИ-ЛЮБОВНИКИ





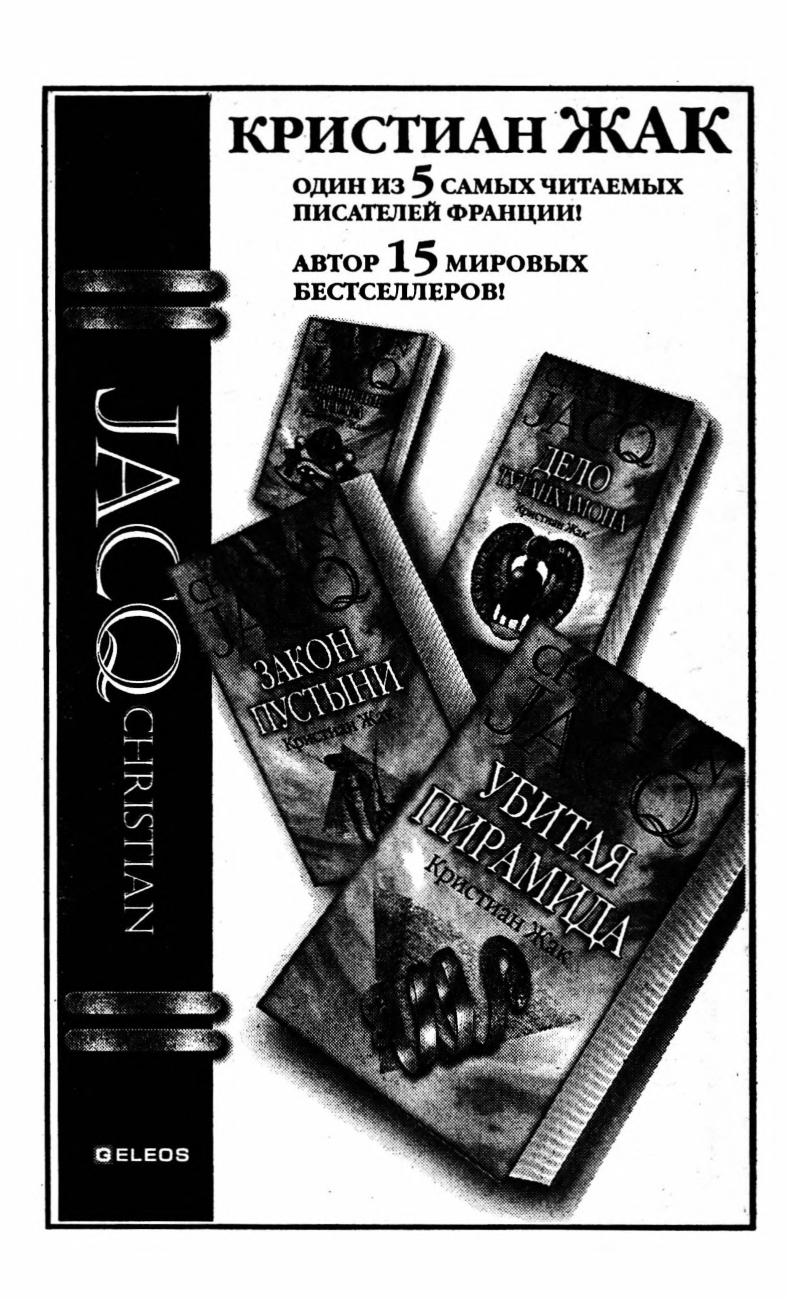


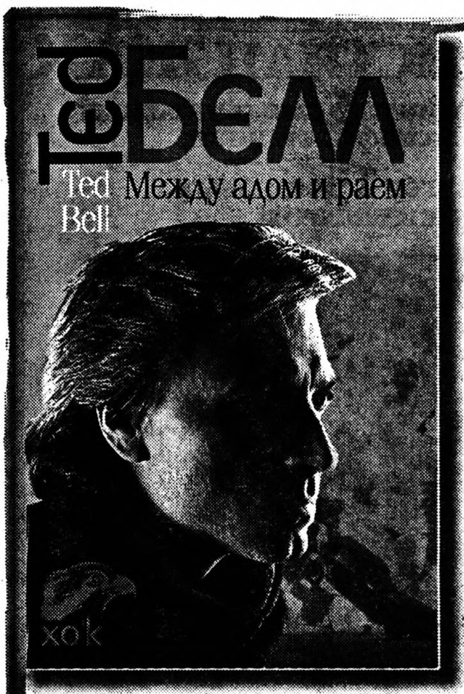



«Короли-любовники» — коллекция восхитительных романов о тайной жизни французского короля Людовика XIV, любвеобильного Генриха VIII и других царственных особ. Погрузитесь в атмосферу страстных и порочных, нежных и романтичных, но всегда загадочных великосветских любовных интриг.

GELEOS


КРИСТИАН ЖАК
ОДИН ИЗ 5 САМЫХ ЧИТАЕМЫХ ПИСАТЕЛЕЙ ФРАНЦИИ!
АВТОР 15 МИРОВЫХ БЕСТСЕЛЛЕРОВ!
JACQ CHRISTIAN
ДЕЛО
Кристиан Жак
ЗАКОН ПУСТЫНИ
Кристиан Жак
УБИТАЯ ПИРАМИДА
Кристиан Жак
GELEOS




Тед Белл — автор шпионских триллеров, родоначальник литературного стиля «адреналит». Наряду с многочисленными литературными наградами является обладателем почетной степени доктора изящных искусств и звания одного из самых талантливых людей в рекламном бизнесе — в этой индустрии удостоен в том числе Гран-при престижного Каннского фестиваля.

В глубоких водах Карибского моря безжалостные и вооруженные до зубов пираты берут на абордаж одинокую яхту и зверски убивают капитана и его жену на глазах у прячущегося ребенка.

Через долгие годы повзрослевший Александр Хок — секретный агент, любимец женщин и прямой потомок легендарного пирата Блэкхока — возвращается в злополучные карибские воды для выполнения особой миссии правительства. Он должен любой ценой предотвратить возможную катастрофу, а заодно и расквитаться со старыми долгами…

GELEOS



*Мраморные плечи светских львиц, шорох бального платья в темной комнате, сломанный в отчаянии веер... Страстные признания и опрометчивые поступки, жестокие разочарования и презрение общества, благородная любовь к падшей женщине и месть оставленной жены... Неповторимые истории любви русских красавиц — гордых и наивных, страстных и отчаянных, готовых ради любимого пойти на любые жертвы и в один миг лишиться богатства и положения в обществе, — никого не оставляли равнодушными.*

*Эти книги помогали русским женщинам быть сильными и гордыми, просвещали их, учили самостоятельности, подсказывали правильный выбор и... помогали оставаться настоящими Женщинами! Прикоснитесь к тайнам этого волшебного времени — вас ожидают изощренные интриги, роковые страсти и счастливые окончания историй!*

*«Светлый луч» — один из лучших образчиков русского любовного романа. Впервые был опубликован в одном из русских еженедельных журналов XIX столетия и сразу же стал настольной книгой русских барышень!*




ISBN 978-5-8189-0510-5

